

Любовный
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



Елена
АРСЕНЬЕВА
ТАНИ ЦАРИЦА

Елена Арсеньева

Пани царица

«Автор»

2008

Арсеньева Е. А.

Пани царица / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2008

ISBN 978-5-699-25932-8

Горем и бедой обернулось Марине Мнишек восхождение на русский престол. Ее прекрасный супруг Димитрий, который ради ее прекрасных глаз готов был покорить и бросить к ее ногам огромную страну, убит дикими московитами как злодей и самозванец. Теми самими, которые только что клялись ему в верности и преданности... Что ждет теперь новую русскую царицу, которая венчалась на царство даже раньше своего мужа? Кто она – бедная гонимая самозванка? Или все-таки царица, которой не хватает лишь престола и... любви?..Ранее роман «Пани царица» выходил под названием «Престол для прекрасной самозванки».

ISBN 978-5-699-25932-8

© Арсеньева Е. А., 2008

© Автор, 2008

Содержание

Пролог	5
Май 1606 года, Серпухов, постоялый двор на перевозе	7
Май 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода	12
Май 1606 года, Москва, Вознесенский монастырь	16
Май 1606 года, Москва, Кремль, бывший царицын дворец	21
Июнь 1606 года, Москва, дом митрополита Филарета	27
Июнь 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода	31
Июнь 1606 года, Москва, дом митрополита Филарета	37
Ноябрь 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода	43
Декабрь 1607 года, Россия	47
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Елена АРСЕНЬЕВА

ПАНИ ЦАРИЦА

Пока солнце взойдет, роса очи выест.

Пословица

Пролог

Две сороки взвились, закружились в вышине. Марина вскинула голову, засмотрелась. Небо голубое, и зеленая листва, и эти реющие туда-сюда черно-белые стрекотуньи, суматошные, не то радостные, не то перепуганные. Но до чего же они громко кричат, они оглушают, из-за сорочьего гама не разберешь людских голосов...

– Виват царице Марине! Красавица, ох, какова же она красавица! Благослови тебя Господь!

– Безбожница, еретичка! Маринка-безбожница! Ой, подпустите меня к ней, ой, выдеру я ее лохмы, выцарапаю глаза!

Нет. Нет! Этого не надо и слушать. Это морок, морок!

Марина резко тряхнула головой – померкший было день прояснился. Блеском ударило по глазам. Засверкали позолоченные щиты двухсот гусар сендомирского воеводы: едут они по десяти человек в ряд, на статных венгерских конях, а на щитах изображение белого дракона, а за плечами гусар позолоченные крылья, и чудится, словно небесное воинство спустилось на землю, чтобы приветствовать панну Марианну Мнишек на ее въезде в Москву... в столичный град, царицей коего она делается отныне!

Она ехала в карете, запряженной двенадцатью лошадьми редкостной масти: белые в черных яблоках. Каждую лошадь вел под уздцы особый конюх. Карета снаружи была алая с серебряными накладками, колеса позолочены, а внутри все обито алым бархатом. Подушки, на которых сидела Марина, были сплошь унизаны жемчугом, и Барбара Казановская, верная подруга, наперсница, гофмейстерина царской невесты, все жаловалась, что ей жестко сидеть...

Рядом раздался стон. Марина покосилась в сторону – и тут же зажмурилась, чтобы не видеть иссушенного горем лица Барбары с черными подглазьями и кровавыми корками на губах. Волосы, Бог ты мой, почему у нее не прибраны, раскосмачены волосы?!

Что-то больно ударило в плечо. Ох, Матерь Божия, это ком грязи, брошенный из толпы... однако на том рубище, кое напялили на Марину, следа не видно, ведь оно и так грязнее грязи!

Опомнись, Марина, это не грязь. Это цветы, ну конечно, цветы! Ими осыпают тебя любящие подданные. И, конечно, цветы не испачкают белоснежного платья, столь щедро унизанного жемчугом и алмазами, что пышные атласные юбки чудятся слишком тяжелыми...

Да, рук не поднять, ногами не пошевелить. Это парадная одежда гнетет тяжестью, это атласные туфельки на высоких, выгнутых по французской моде каблуках стянули крошечную ножку Марины – это вовсе не железы сковывают члены, натирают кожу до кровавых волдырей!

А вот и знаменитая Красная площадь. Сейчас ее следовало бы назвать пестрой, ибо вся она пестра от человеческих лиц и нарядов. Толпа московского народа всякого звания высыпала из своих домов глядеть на невесту царя Димитрия Ивановича. Тут были персы, турки, грузины и татары... Марина в первую минуту даже решила, что в Московии русские вовсе не живут! От Фроловских ¹ до Никольских ворот играли музыканты и заливались песельники. В

¹ Ныне Спасские.

честь прибытия новой государыни грянула знаменитая польская песня, и шляхтичи из свиты Марины завели что было мочи: «Всегда и всюду, в счастье и в горе, я буду тебе верен!»

До Марины долетал срывающийся голос Яна Осмольского. Она выглянула из окошка кареты и встретила взгляд его черных очей. Для Яна слова о любви и верности всегда были устремлены к панне Марианне, владычице его сердца, и как же больно было этому сердцу, что через день-другой ослепительная «польская нимфа» будет принадлежать русскому царю, который скачет на белом коне им навстречу...

– Крепись, дочь моя. Не покажи врагам Господа нашего свою слабость и боль! – послышался рядом тихий голос Никола де Мелло, и Марина нашла в себе силы поднять отягощенную цепями руку и осенить себя крестным знамением, чтобы ободрить своего духовника.

Новый рев толпы был ответом на это простое движение:

– Еретичка! Безбожница! Руки ей обрубить!

В окно кареты полетели комья грязи, камни... Какие-то мужики рванулись к телеге, глаза их горели яростью, простоволосая раскосмаченная баба вцепилась в подол атласного платья Марины, обрывая жемчуг... Затрещало ветхое рубище, и Заруцкий обхватил Марину, прижал к себе, другой рукой защищая маленького Янека, который скорчился на клочьях сена, прикрывавших днище этой позорной колесницы...

Мальчик с большими, испуганными черными глазами пронзительно закричал на руках матери.

Всадник на белом коне исчез.

– Димитрий! – закричала Марина, рванувшись к нему, но его уже не было, нигде не было...

Она бессильно припала горячим лбом к плечу Заруцкого, и все смерклось в глазах: и мимолетное сияние прошлого, и мрак настоящего.

Май 1606 года, Серпухов, постоянный двор на перевозе

– Пообедаем здесь. Устал я, да и кони притомились.

Высокий светловолосый человек в дорожной одежде спешил и бросил поводья подбегавшему отроку – тот ловко их поймал и повел мерина к коновязи, одновременно кланяясь и указывая дорогу светловолосому, в котором безошибочно угадал первого человека среди приезжих. Двое других: сумрачный, чернявый, весь заросший бородой и длинным волосом человек и низкорослый, толстый, добродушный его попутчик – должны были привязать своих коней сами.

– Приметливый какой, глаз алмаз, – хмыкнул светловолосый, явно довольный сообразительным мальчишкой. – Эй, ты! Обед готов ли?

– Всегда готов обед, сударь, – вновь поклонился тот. – Хоть бы вы приехали утром или ночью – найдется кушанье для вашей милости и ваших людей.

Он произносил слова четко, правильно, однако что-то в его речи и облике неуловимо выдавало иноземца.

– Немцы никак? – спросил чернявый приезжий.

– Так, сударь, – кивнул мальчик. – Матушку мою зовут Марта Эйслер, а меня – Фриц.

– Фриц наломал спиц, – пробурчал чернявый и первым вошел в дверь.

Фриц озадачился. Он привык, что русские господа весьма считаются чинами и впереди всегда идет самый главный из них. Неужели его наметанный глаз дал осечку?

Светловолосый заметил его замешательство и, хохотнув, мимоходом погладил Фрица по соломенным, опрятно постриженным волосам:

– Не тушуйся, милоч. Не все то золото, что блестит, слышал такое?

Фриц хлопнул белесыми ресницами. Он ничего не понял, но изобразил понимание, чтобы господин остался доволен.

Новые гости вошли в низкую просторную комнату, с первого взгляда поражающую чистотой тех, кто привык к московским кабакам с их грязными столами, колченогими лавками и щербатыми мисками да кружками. Приезжие устроились в укромном углу, спросили еды: зеленых щей, мяса, каши, капусты да квасу – и в ожидании Фрица, который был в сем заведении и швец, и жнец, и в дуду игрец, а проще сказать, успевал обслуживать и коней, и всадников, покуда матушка его кашеварила, устало облокотились на стол. Толстяк вроде даже задремал, однако если бы какой-то сторонний человек решился присматриваться к приезжим, он мог заметить, что все трое исподтишка зыркают глазами по сторонам, оценивая прочих гостей.

Тех, впрочем, было немного, все по виду путники, да и кто еще мог остановиться пообедать в этом кабаке на въезде в город, как не проезжие? Все держались весьма тихо, как бы угнетенные чинностью и опрятностью сего места, ели да пили, не глядя по сторонам. Веселее держался только один тщедушный мужичонка с распатланными космами, приказная душа по виду и повадке, уже немало принявший то ли вина, то ли пива, которые ему частенько подносил Фриц. Приказный даже пробовал петь песни, однако и ему не пелось в сем уныло-пристойном заведении: то голос срывался, то слова не шли на ум.

Наконец подали еду и нашим приезжим. Все оказалось приготовлено неожиданно хорошо, главное дело – не на прогорклом масле, как это водится у русских кабатчиков, в меру посолено, в меру прожарено, поэтому гости отдали должное каждому кушанью, а насытившись, попросили Фрица позвать свою матушку, чтобы поблагодарить ее за отменное мастерство.

Мальчишка отвесил челюсть. Такое на его памяти случалось раза три, и всякий раз благодарили фрау Марту только заезжие иноземцы: в русском обиходе такого не водилось, каждый словно бы опасался уронить себя избыточной приветливостью. Может статься, сии господа не русские? Или частенько бывали по иным государствам, вот и переняли чужие обычаи?

Вышла низенькая женщина с красным от печного жара лицом, в белоснежном чепце и переднике. Прочая одежда на ней была черная, что безошибочно указывало на вдовство хозяйки. Ее скромность и сдержанность понравились приезжим, оттого они расплатились, не скупясь, не торгуясь, еще и прибавили щедро «на бедность».

Фрау Марта и Фриц благодарили от души, причем оба то и дело ныряли в забавных, низких поклонах, топыря зады, что изрядно веселило гостей. Наконец они начали выбираться из-за стола, и в эту минуту приказный, словно только что заметив соседей, обернулся к ним.

– Челом, господа хорошие, люди московские! – промолвил он, и сразу стало ясно, что человек этот уже не хозяин своему языку. – Вы ведь люди московские?

– А ты что за спрос? – с улыбкою отвечал толстяк. – Сам-то чей?

– Тутошний, серпуховской, – отозвался приказный с таким тяжким вздохом, что сразу стало ясно: жизнь в сем городишке невыносима. – Полушка Петькин, сын Алексеев, на службе состою у нашего воеводы. Писарем.

Название своего немалого поста не прибавило бодрости в голос Полушки Петькина: очевидно, служба сия была безотрадная и безденежная. И необременительная – судя по тому, что Полушка в самую рабочую пору отсиживался в кабаке.

– Ну и Бог тебе в помощь, Полушка, – миролюбиво промолвил светловолосый господин. – Желаю тебе рано или поздно сделаться истинной деньгою!² Засим прощай, и вы, люди добрые, прощайте!

Гости двинулись к двери.

– Погодите, погодите, – засуетился Полушка. – Дозвольте слово молвить!

– Ну, молви, – милостиво согласился светловолосый.

– Вы – господа московские, вы доподлинно знать должны... – Полушка на миг замялся, но тотчас с отчаянной решимостью выпалил: – Правда ли, что царь Димитрий и впрямь был Гришка Отрепьев, расстрига-монах, а еще верно ли толкуют, что он от смертоубийства спасен был неведомою силою?

Трое переглянулись, а затем воззрились на предерзкого Полушку с таким изумлением, что тот забеспокоился, начал ерзать по лавке и даже ощупывать себя руками: не открылся ли у него, скажем, третий глаз – иль, может статься, крылья вдруг за спиной прорезались?

– Ну, Полушка, коли ты при воеводе состоишь, то должен знать, что ныне у нас один царь-государь – Василий Иванович Шуйский, – наконец уклончиво ответил светловолосый. – И что касемо Гришки Отрепьева, все нам разъяснено доподлинно.

– Во-во, – уныло протянул Полушка. – Какая ж тут доподлинность? То он Димитрий, то он Гришка, то он истинный царь, то он расстрига... За нашим воеводою не угонишься: у него семь пятниц на неделе, и в каждую – новая новость. Вскорости у нас в приказных бумагах станут байки писать, какие бабы малым детушкам сказывают.

– А что они сказывают? – неожиданно подал голос – зычный, словно из бочки! – смуглый и волосатый приезжий.

– Да много чего. Вот хоть такое-этакое, – слово-охотливо отозвался Полушка. – Жил-де на свете Гришка-расстрижка по прозвищу Отрепкин; уж такая ему по шерсти и кличка была! Пошел он в полночь по льду под Москворецкий мост и хотел утопиться в полынье. А тут к нему лукавый – и говорит: «Не топись, Гришка, лучше мне отдайся: весело на свете поживешь. Я могу тебе много злата-серебра дать и большим человеком сделать». Гришка ему говорит: «Сделай меня царем на Москве!» – «Изволь, сделаю, – отвечает лукавый. – Только ты мне душу отдай и договор напиши кровью своею». Гришка тут же достал бумагу, что с ним была, разрезал ножиком палец и написал кровью запись на том, что он лукавому душу отдает, а тот обязуется сделать его царем на Москве. Только забыл Гришка срок поставить в записи, сколько

² Полушка – самая мелкая старинная монета: полденьги или четверть копейки.

времени ему царствовать. И вот повел его лукавый в Литовскую землю³ и там такой туман напустил, что король литовский и все его вельможи признали Гришку за московского царевича Дмитрия Ивановича и повели его со своею военною силою к Москве, чтоб там на царство посадить. Тут лукавый и на весь московский народ туман напустил, так что все его приняли за прямого царевича Дмитрия Ивановича. Он сел на царство. Тут лукавый стал подушать его, чтоб во всем государстве Московском истинную христианскую православную веру искоренить и поганую литовскую ересь ввести. Испугались московские люди и бросились Богу молиться. Собрались архиереи и весь духовный чин и стали служить молебны. Тогда мало-помалу начал спадать туман у всего народа, и все увидели, что на царстве сидит не Дмитрий Иванович, а злой еретик Гришка-расстрижка по прозвищу Отрепкин. И убили его...

– Ну, убили да и убили, – проворчал смуглолицый. – Чего тебе еще надобно?

Видно было, что ему байка не пришлась по нраву, однако светловолосый гость не смог сдержать восхищения.

– Круто заверчено! – воскликнул он. – И zelo на правду похоже. Одного я не пойму: с чего Гришка-расстрижка топиться надумал?! И почему именно он столь полюбился лукавому? Мало ли кому взбредет в голову камень себе на шею навязать да в полынью. Неужто каждому лукавый царство дает? Этак-то на всех небось не хватит, да и у нас продыху от царев не стало б на Руси! А, Полушка? Что у вас на воеводстве на сей счет кумекают?

Ободренный похвалой, Полушка только теперь смекнул, что над ним хохочут в глаза, и от обиды надулся так, что его маленькая, тощенькая мордочка сделалась округлой, словно у суслика, набившего щеки.

– На воеводстве все молчат, словно воды в рот набрали, – проворчал он невнятно. – Однако слышал я, что в тот день на Красной площади вовсе не Дмитрия Ивановича убили.

– А кого ж? – насторожился светловолосый.

– Да кто ж его знает? – пожал плечами Полушка. – А только говорят, государь заранее прознал, что против него заговор готовится. Был-де у него служитель, похожий на него. Царь его нарядил в свое платье и приказал лечь на царскую постель: тот не понимал, что это значит, и думал, мол, какая-нибудь шутка. На него наскочили убийцы, он кричит: я не Дмитрий, я не Дмитрий! А те думали, что расстрига сознается в своем воровстве, и убили его, а настоящий царь ушел заранее и спасся.

– Круто заверчено! – повторил светловолосый. – И где ж он теперь?

– А Бог весть! – пожал плечами Полушка. – Вы мне только одно скажите: правда сие или нет?

Гости переглянулись, видимо, тронутые искренним волнением, звучавшим в его голосе, потом толстый приезжий негромко промолвил:

– Всякое может быть. Вот я, а имя мое Хвалибог, был слугой у его величества государя Дмитрия Ивановича.

– Иди ты! – недоверчиво махнул на него Полушка. – Слуга? Самого государя?

– Сам иди, – отвечив назвавшийся Хвалибогом и продолжал: – Я чудом спасся – счастье, что в тот день не во дворце ночевал, а у дружка своего в городе. Видел труп на Лобном месте...

– И что, и что?! – аж ногами сучил от нетерпения Полушка.

– А то, что государь наш был худощав, волос на груди не имел, зато имел родимое пятно, волосы же на голове у него были богатые. На площади валялся труп толстого человека с начисто выбритой головой и заросшей грудью. Еще тебе скажу: пятна родимого там, где было оно у Дмитрия Ивановича – на груди под мышкою, – я у мертвого не видал. А также ногти у него

³ Польское королевство в то время часто называлось Литовская земля или просто – Литва.

были мужичьи, грязные, нестриженные, а Димитрий-государь о себе очень заботился, о чистоте телесной...

Подавленный такой откровенностью, Полушка плюхнулся задом на лавку да так и сидел разиня рот. Светловолосый поглядел на его ошарашенное лицо и проговорил:

– Мое имя – князь Шаховской. Кто этот человек – ты уже слышал, слуга государя Димитрия. Ну а третий меж нами... – Он многозначительно помолчал, потом наклонился к уху почти обезумевшего Полушки и своими следующими словами окончательно лишил беднягу способности двигаться и соображать: – Ждите! Скоро наш государь воротится! Варите пива да меду побольше! И ты жди, Фриц! – обернулся он к мальчику, который почти ничего не понимал из услышанного. – На обратном пути в Москву государь за все будет вдесятеро платить!

И торопливо вышел, пропустив вперед смуглого человека. Через минуту в кабак донесся топот копыт, и только тогда Полушка обрел врожденное умение выражать свои мысли словами и завопил:

– Государь! То был государь Димитрий! Он жив!

К вечеру весь Серпухов знал, что у немки Марты столовался оживший царь Димитрий Иванович. Полушкины слова неожиданно подтвердил перевозчик Надея Колобков.

Он-де переправлял через Оку пониже Серпухова трех людей с их конями, и, высаживаясь на другой берег, светловолосый всадник сказал:

– Знаешь ли ты, кого вез?

– Не знаю, – честно признался Надея. – Да мне ни к чему!

– Молчи, брат! – таинственно сказал незнакомец. – Видишь, вон тот молодой господин – это царь Димитрий Иванович: ты царя перевозил. Его хотели убить, а Бог его сохранил. Он ушел и придет назад с большим войском, и сделает тебя большим человеком!

Надея Колобков считался человеком богобоязненным и на слово не спорым, не то что Полушка, известный как сущее ботало. Надею можно было верить! И ему поверили.

Что и говорить, слова Шаховского Надея передал точно. Жаль, однако, что не слышал дальнейшего разговора между всадниками!

– Не надоело языком трепать? – пробурчал не без досады смуглолицый волосатый человек. – Хорош ты лгун, Хвалибог! Знаешь ведь доподлинно, что убит наш Димитрий Иванович, убит, нет же: волосы, ногти... Тьфу, слушать тошно! А тебе, князь Григорий Петрович, мало, что государеву печать увез, так еще и мертвого воскресить надумал?

– А ты, Мишка, скипетр и корону зачем у Шуйского скрал? – спросил Шаховской, еле ворочая языком со смеху. – Разве не затем, чтобы себя за воскресшего государя выдать? Кому, как не тебе? Ты ему ближним другом и наперсником был, тебе и книги в руки!

– И-и, окстись! – отмахнулся Молчанов. – Не по мне твоя игра, кишка у меня для нее тонка. Какой из меня царь, ты сам посуди?

– Жаль, жаль... – протянул Шаховской. – А то хорошо бы мы хвоста наvertsели Шуйскому!

– Чего ты на него такой злой? – хмыкнул Молчанов.

– Как это чего? – хмуро глянул Шаховской. – Сослал меня на воеводство в Путивль, в глухомань смертную. А за что? Лишь за то, что я его царем не хотел признавать, лишь за то, что верил, будто Димитрий наш Иванович истинным сыном Грозного был, а коли так – то Шуйский есть крамольник и цареубийца, ему место не в Грановитой палате, а на плахе на Поганой луже⁴.

– Да ведь ты хоть из кожи вон вылези, а государя не воскресить, – с глубокой, искренней тоской промолвил Молчанов. – Он один был! Такого больше не сыскать!

⁴ Обычное место для казней в Москве.

– Такого, может, и не сыскать, а другого сыщем! – воскликнул князь Шаховской, который по самой природе своей не был способен долго печалиться. – Право слово, Мишка, вот те крест святой кладу, что измыслю нового Димитрия! Создам его из ничего, аки Господь, Творец наш, создал праотца Адама – из персти⁵ земной!

– Не богохульствуй, а лучше погоняй, – с усмешкой посоветовал Молчанов, настегивая коня. – Нам бы засветло до ночлега добраться.

Да, богохульствовать князю Шаховскому надобности не было. Уподобляться Господу и создавать нового Димитрия «из ничего» ему не пришлось.

Сей второй Димитрий уже был призван к участи своей!

⁵ Перст ь – пыль, прах.

Май 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода

– Вставай, зараза!

Голос воткнулся в уши острее иглы, и Стефка попыталась зажать их ладонями, но не смогла пошевелиться: каждое движение, даже самое мало-малейшее, причиняло боль, которая отдавалась во всем теле. Особенно ныли ноги... Чудилось, кто-то страшный, кто-то зловеще-сильный взял ее за щиколотки и тянул в разные стороны, пытаясь разорвать надвое. Потом понял, что это не удалось, и бросил истекать кровью. Стефка чувствовала, как сочится из нее кровь – оттуда, из тайного женского места. Наверное, вся рубаха в крови и юбка.

Постепенно она ощутила, что болят не только ноги, но и запястья (казалось, с них содрана кожа), и шея (не шевельнуть, словно пытались открутить голову, как куренку), и горло (саднило мучительно, кричала она, звала кого-то, что ли?), и кожа на голове, как если бы ей рвали волосы... Матка Боска, да что же это за муки адовы с ней содеяны? За что, за какие прегрешения? И кто, кто с ней все это совершил?

Муки, оказывается, еще не кончились. Что-то больно ткнуло Стефку в бок так, что она со стоном скорчилась, а незнакомый голос снова врезался в уши:

– Кому говорено, вставай!

Стефка с усилием разлепила веки. Отчего-то меж ними образовались только малюсенькие щелочки, а глаза тотчас начало резать, будто в них сыпанули песок. Пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить себя не только смотреть, но и видеть. Однако то, что открылось взору, не доставило никакой радости: ведь глаза незнакомой женщины, уставившейся на Стефку, были до краев переполнены лютой ненавистью.

Через мгновение грубые руки вцепились в Стефкины плечи и принялись трясти, а из тонкогубого рта донесся визг:

– Вставай, тварь! Чего разлеглась? А ну!..

Стефка моталась по полу. Она и рада была бы подняться, да никак не могла найти для этого сил. Только упрется ногами в пол, только начнет подниматься, как следует новый рывок, новый, новый...

– Пусти меня! – наконец выдохнула Стефка сквозь стучащие зубы и обнаружила, что губами можно пошевелить лишь с великим трудом, а во рту железистый, кислый привкус крови. – Пусти, я сама встану!

Но женщина словно не слышала: трясла ее за плечи и кричала, издавая при этом какие-то хлюпающие звуки, и немалое время прошло, прежде чем Стефка поняла: незнакомка плачет – нет, рыдает, задыхается от слез!

Вот те на! Чуть не до смерти забила беднягу – и обливается слезами от жалости к ней?! Нет, какая тут может быть жалость, вон с какой ненавистью глядела...

– А ну пусти ее! – громом ударил мужской голос, и руки, терзавшие Стефкины плечи, мгновенно разжались. Она не усидела и повалилась на пол, прижавшись щекой к плотно убитой земле. Какой-то миг ее измученное тело блаженно принимало прохладу и покой, а потом перед глазами Стефки вдруг оказались сапоги – красные козловые сапоги с загнутыми вверх носками и наборными каблуками. Это были русские сапоги, они что-то напоминали Стефке, с ними было связано что-то страшное, а потому она медлила вести взором вверх. Однако этот вновь появившийся человек оказался нетерпелив и тоже схватил Стефку за плечи, вздернул вверх, так что ее запухшие глаза оказались вровень с прищуренными черными мужскими глазами. Еще Стефка увидела точеные черты румяного лица, красиво облитого курчавой бородкой, подковку усов, твердо вырезанные губы, которые раздвинулись в усмешке...

В этой усмешке была не радость – в ней было злорадство. Злорадство и жестокость! И тут вернувшаяся память ожгла Стефку огненным кнутом, ноги ее подломились, и она упала

бы вновь, не продолжай ее удерживать черноглазый. Но теперь она вспомнила и его имя, и все, что было для нее с этим именем связано, и ей захотелось умереть – умереть немедленно, только бы исчезли эти страшные воспоминания, которые закружились перед Стефкой, словно видения ада.

Она увидела спальню государыни Марины – разоренную, неприбранную, полную людей. Фрейлины царицы, полуодетые, растрепанные, – ведь набат и сполох подняли их еще до свету! – метались туда-сюда, совершенно потерявшись от страха. Толпа москвитян ворвалась в Кремль, в царский дворец, об участии государя ничего не было известно, а из сеней неслись то крики о помощи, то торжествующие вопли, то выстрелы, и над всем этим реял непрекращающийся звон колоколов, доносившийся со всех концов Москвы.

Как-то держалась в этой страшной сумятице только пани Марианна. Она велела подать себе платье и приказала своим женщинам немедленно одеться. Царица хотела, чтобы она сама и весь ее двор достойно встретили любую опасность, даже смерть... да, они были готовы к самому худшему! Но фрейлины не успели одеться. В спальню влетел паж государыни Ян Осмольский, бледный, с обнаженной карабелей ⁶ в руках, и прокричал, что толпа уже близко. Он успел запереть дверь, чтобы дать царице возможность бежать, однако все выходы и лестницы оказались уже отрезаны.

– Они войдут сюда только через мой труп! – крикнул Ян... и через несколько мгновений его труп уже лежал посреди комнаты. Москвитяне дали залп по двери – этими выстрелами Ян и был убит, – а потом изрубили юношу саблями, уже мертвого.

Вслед за этим началось нечто и вовсе страшное. Озверевшие мужики валили с ног беззащитных женщин и набрасывались на них по нескольку сразу. Они были настолько одурманены кровью, похотью, безнаказанностью, что намеревались изнасиловать даже Ванду Хмелевскую – даму преклонных лет, которая была ранена теми же выстрелами, которые сразили Янека, и без сознания лежала на полу! Но происходящее с ее подругами Стефка видела словно в тумане. Единственное, что она толком запомнила, это что пани Марианна, маленькая и худенькая, успела спрятаться около своей кровати и остаться не замеченной мужиками. А потом Стефка увидела рядом с собой карабелю, выпавшую из рук Янека Осмольского, и поняла, что милосердный Господь посылает ей помощь.

Когда-то давно, в те блаженные времена детства, когда пан Владислав Богуславский, шляхтич из Самбора, еще не успел пристроить свою единственную дочь в свиту панны Марианны Мнишек, он забавлялся тем, что учил шалую девчонку орудовать саблём. Конечно, ручки у Стефки были по-девичьи слабоваты, однако у нее оказалась гибкая кисть, вдобавок ученица пана Богуславского была вынослива, упряма и хитра, как всякая Евина дочка. Она спроста выучилась некоторым хитрым фехтовальным маневрам, и теперь именно они да еще неистовая гордость, вернее, гордыня, помогали Стефке держаться, забившись в угол и не подпуская к себе двух или трех нападающих.

Она защищала свою жизнь, свою честь, а сама молила Господа о помощи и пощаде. Раньше Стефка жила, как птичка пела, а мужчин любила так, как иные женщины любят наряды и драгоценности. В свои семнадцать Стефка уже успела потерять счет поклонникам, делившим с нею ложе: раскинуться перед мужчиной для нее было то же, что другой даме или девице пройти на балу тур в полонезе! Но всегда, с самого первого раза, когда Стефка узнала своего самого первого мужчину, она сама решала, с кем проведет ночь или предастся торопливой страсти где-нибудь в кустах или в укромном уголке самборского замка, за гобеленами, щедро покрывавшими его стены, или на конюшне. Сделаться случайным игрой москвитянской черни, этих распаленных похотью мужиков, для нее было невыносимо, и она твердо поло-

⁶ Карабел я – длинная польская сабля.

жила себе броситься грудью на острие чужой сабли или чиркнуть лезвием по горлу, когда уже не останется сил держать карabelю в руках. И все же продолжала надеяться на лучшее – ведь среди ворвавшихся в царицны покои был и Никита!

Этого черноглазого стрельца Стефка заметила в тот день, когда панна Марианна вместе со своей многочисленной свитой въехала в Москву и отправилась в Вознесенский монастырь, где ей предстояло провести под присмотром матери царя Димитрия Ивановича, инокини Марфы, неделю, оставшуюся до коронации и венчания с государем. При виде мрачных монастырских келий Стефка чуть не зарыдала от ужаса (как, впрочем, и остальные придворные дамы панны Марианны!), но, озирая окрестности прощальным взором, готовясь похоронить себя заживо, она вдруг встретилась с самыми пылкими мужскими глазами, какие ей только приходилось видеть в жизни.

Этими глазами и внешностью своей Никита сразу напомнил Стефке Яна Осмольского, пажа панны Марианны и, по единодушному женскому мнению, первого красавца в ее свите, а может быть, и во всем Польском королевстве. Беда только в том, что Янек был еще не мужчиной, а юноша, почти мальчик, а главное, он был так безраздельно влюблен в свою госпожу, что другие женщины, даже столь молоденькие и аппетитные, как Стефка, для него не существовали. Однако невероятные черные очи Янека порою являлись Стефке в грешных снах, только в этих снах Ян был вполне зрелым мужчиной и смотрел на кокетливую камер-фрейлину не равнодушно, как наяву, а с истинной страстью. И вот теперь сон почти сделался явью!

Пани Ванда Хмелевская что-то причитала о мрачности и темноте монастырских келий, кои пагубно скажутся на ее здоровье, и совершенно не замечала, что рядом с нею происходит мгновенный сговор – пусть безмолвный, но столь пылкий, что чудо, как бревенчатые стены старого монастыря не занялись полымем! Глаза спросили, глаза ответили... и, чуть настала ночь, Стефка перебралась через загодя примеченный пролом в монастырской ограде, нимало не сомневаясь, что ее уже ждут.

Так оно и оказалось. Теперь каждый вечер она встречалась с Никитою. Неделя в монастыре показалась ей одной из самых упоительных в ее жизни, потому что в красивом стрельце она нашла враз и нежность, и страстность, и грубоватую мужественность, которая сводила ее с ума. Встречи продолжались и после венчания панны Марианны, когда вся ее свита перебралась во дворец, находившийся в том же Кремле. Беда только в том, что торопливые соития в кустах скоро поднадоели Стефке, которая любила в мужчинах не только дерзость, но и галантность, а также изощренность. Ни того, ни другого в красавце москвитяnine и в помине не было, и если сначала Стефке было весьма по нраву, когда ее после первого же поцелуя валят наземь и валяют по этой земле с великим пылом, то теперь ей хотелось того, что у цивилизованных шляхтичей называется любовной игрой, а у Никиты – беса тешить.

Тешить попусту беса ради бабьего удовольствия он нипочем не желал, а у Стефки, не иначе, мозги свернулись, как скисшее молоко, в этой варварской Москве! По простоте душевной она взяла да и предложила Никите разделить их забавы с кем-то третьим. Еще в Кракове два поклонника, настоящие природные французы и друзья не разлей вода, как-то приохотили Стефку к таким изысканным играм. Но французы – это одно, а московский стрелец – увь, совсем другое... Никита обозвал Стефку блядью и ушел, причем по всему было видно, что у него руки чешутся отвесить ей пару хороших тумачков. Стефка пожалала своими хорошенькими сдобными плечиками и решила забыть Никиту. Однако человек предполагает, а Бог располагает... Наверняка ей бы удалось справиться с тягой к угрюмому москвитянину согласно мудрейшей поговорке: «Клин клином вышибают», но последовать ей Стефка просто не успела.

В ночь с 16 на 17 мая в Москве вспыхнул бунт. Заключенные, нарочно для сего выпущенные из тюрем и подстрекаемые боярами во главе с князем Шуйским, бросились в Кремль с криками: «Бей Литву! Литва хочет извести нашего государя!» Одурманенным людям удалось прорваться в царский дворец. Толпа озверелой черни добралась и до царицных покоев. Деву-

шек насильовали, а Стефка еще держалась из последних сил – на гордости истой шляхтянки, на надежде, что Никита забудет обиду, нанесенную ему Стефкой, и придет ей на помощь...

Еще минута – и она рухнула бы без сил, но тут Никита опомнился и с криком: «Пошли прочь! Она моя!» – отогнал мужиков. А потом... потом он подозвал молодого парнишку, который топтался посреди спальни, возбужденный увиденным, но робеющий подступить к женщинам, и отдал Стефку ему на позор и поругание. Да и сам не остался в стороне, решив сполна расквитаться за нанесенное ему оскорбление! Никита и его сотоварищ вдвоем безжалостно насильовали Стефку до тех пор, пока она не лишилась чувств.

В те минуты она молила Господа о смерти... но он не внял мольбам бедной маленькой грешницы!

Она жива. Ее отторгли от своих – вокруг не царицыны покои, а какая-то убогая каморка с земляным полом, рядом с ней только Никита и эта неизвестная женщина со злобным голосом и глазами, переполненными ненавистью.

Как она попала сюда? Живы ли ее подруги, ее племенники, ее госпожа? Она боялась спросить, потому что боялась ответа...

Май 1606 года, Москва, Вознесенский монастырь

Низенький, кряжистый человек с глубоко посаженными маленькими глазками не дал себе труда встать, когда в приемную комнату Вознесенского монастыря вошла худая, словно бы иссушенная невзгодами и тревогами женщина. Осенила себя крестным знаменем, попыталась было посмотреть на невежу свысока, надменно, однако против воли согнулась настороженно, поглядывала исподлобья, чуть ли не заискивающе.

Хотя... чего ей бояться? Что худшее может случиться с ней, кроме того, что уже случилось?

Слишком рано, совсем юной девушкой выданная замуж за всевластного и страшного государя, она очень скоро наскучила ему и превратилась в забытую приживалку. Царь жаловал ее опочивальню своими посещениями так редко, что Марьюшка даже удивилась, когда поняла, что зачреватела. Это было счастье, это была благодать Божия! Больше не придется со страхом ловить шаги за дверью: уж не идут ли за ней стражники, чтобы по приказу царя отвести неплодную жену в монастырь и постричь насильно? Больше не придется с криком просыпаться от кошмаров, в котором чьи-то руки налагают на ее лицо тяжелую подушку, подносят к губам чашу с ядом или навязывают на шею жернов, прежде чем столкнуть в полынью. Теперь все это было в прошлом... но недолго длилось счастье Марьи Нагой, седьмой жены великого государя Ивана Грозного! Царь умер, оставив трон малоумному сыну Федору, а младшего, Дмитрия, вместе с его матерью поручил опеке своего первого друга Богдана Бельского, человека хитрого, смелого, но вместе с тем благородного.

Увы... И Бельского, и Нагих – родню Марьи, и всех прочих обошел Бориска Годунов – шурин царя Федора Ивановича, брат его жены Ирины. Годунов так обаял, так обошел молодого царя, столько ему в уши напел, что тот безоговорочно поверил: и Бельский, и Нагие злоумышляют против законного наследника. И вот на другой же день после смерти Грозного Бельский был отправлен в низовые города – якобы на воеводство, а на самом деле в ссылку, Нагие же вместе с Дмитрием пустились в путь в Углич – подальше от Москвы...

И тогда Богдан Яковлевич Бельский понял, что Годунов способен на все. Обиднее всего было старому вельможе, что именно он некогда представил царю своего молодого родственника, именно он содействовал браку Бориса с дочерью всеильного и страшного Малюты Скуратова. Да, не всякий решился бы жениться на Марье Григорьевне⁷, недаром потом о Годунове говорили так: «Зять палача и сам в душе палач!» Этот «палач в душе» не замедлит сделаться им на деле, чтобы удержаться у трона. Ведь он овладел и душой, и разумом доверчивого, слабого Федора. Но всевластие Годунова простиралось лишь до тех пор, пока Федор жив. Не быть ему спокойну, пока в Угличе подрастал следующий наследник русского трона. Ведь Дмитрий, а вернее, его опекуны сметут Годунова с пути, лишь доберутся до власти, и не просто сметут, а оставят от него лишь пятно кровавое. Ну не может, никак не может Годунов допустить, чтобы Дмитрий остался жив!

И предчувствия не обманули Бельского: спустя пять лет Осип Волохов, сын няньки царевича Василисы, а также дьяк Михаил Битяговский с сыном Данилой покусились на жизнь Дмитрия, попытались ему горло перерезать. Это увидел с колокольни церковный сторож и ударил в набат. Народ кинулся во дворец царевича. Все были убеждены, что Дмитрий убит, и забили Битяговских и Волоховых до смерти. В поднявшейся суматохе Афанасий Нагой, брат царицы Марьи Федоровны, унес раненого мальчика и бежал с ним из Углича. Народу отвели глаза, похоронили пустой гроб. Ведь если признаться, что Дмитрий жив, Годунов рано или поздно подошлет новых убийц! Приехали из Москвы расследователи во главе с князем Васи-

⁷ Настоящее имя Малюты Скуратова – Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.

лием Шуйским. Нагие думали, что тут-то им конец, однако расследователи даже не пожелали взглянуть на мертвое тело. Немедленно постановили, что царевич страдал падучей болезнью и сам себя зарезал, играя в тычку. За то, что недосмотрели за ним, Нагие после пыток были разосланы по дальним далям, Марья была насильно пострижена под именем Марфы в Богом забытом Выксунском монастыре... В ссылку отправились почти все угличане и даже колокол – тот самый, что оповестил народ о свершившемся злодеянии. За то он и пострадал: лишился ушек (точно государев преступник, коему рвут ноздри и режут уши, навечно клеймя позором!) и был отвезен в Сибирь – в Тобольск.

Не более пяти-шести человек знали, что Афанасий Нагой спрятал раненого Димитрия у бояр Романовых, ненавистников Годунова и родичей первой жены Ивана Грозного, Анастасии Романовны Захарьиной. Но еще меньше народу знали, что в Угличе покушались вовсе не на подлинного Димитрия!

Подмена была совершена еще раньше – по пути в Углич. Как раз когда хитромудрый Бельский решил обезопасить царевича от любых козней Годунова и привез в Углич сына какого-то обедневшего до нищеты дворянина. Замысел Бельского удался, но беда в том, что через двадцать лет, когда Димитрий заявил о своих наследственных правах и пошел войной на Годунова, успевшего исполнить свою заветную мечту и нахлобучить шапку Мономаха, уже никто не мог толком удостоверить его подлинную личность. Конечно, Бельский и братья Романовы, Федор да Александр, следили за жизнью юноши, который воспитывался сначала в глуши, у доверенных людей, не знающих, что за птенец подброшен в их гнездо, а потом был помещен в Чудов монастырь, под присмотр настоятеля, отца Пафнутия. С его молчаливого одобрения инок Григорий (таково было имя Димитрия в святом крещении) воспитывался скорее как боярский или дворянский сын, а не как монах. С его же попущения сей инок однажды исчез из Чудова монастыря вместе с братом Варлаамом, желавшим непременно добраться до Святой земли, и вскоре оказался в Польше, где смог убедить сендомирского воеводу Юрия Мнишка, его зятьев Вишневецких, а там и сейм польский с самим королем Сигизмундом, что он есть истинный сын Ивана Грозного Димитрий, а значит, законный царевич и наследник русского трона. Польская армия, к которой вскоре примкнули русские войска и донские казаки, взяла Москву, Димитрий воссел на трон, с которого уже успел скатиться Бориска. То ли своей смертью он помер, то ли покончил с собой – Бог его весть, собаке собачья и смерть! Про него так и говорили иноземцы: «Intravit ut inlpes, regnavit ut leo, mortus est ut canis»⁸.

Ходили слухи, что Димитрий – вовсе не царевич законный, а расстриженный монах Гришка Отрепьев. Но народ, обрадованный освобождению от тихого удушья, которым давил страну Годунов, жаждал услышать подтверждение: это истинный, Богом данный царь! И услышать это люди хотели не от Богдана Бельского, не от лживого Шуйского, который с равным пылом то клялся, что на троне сын Грозного, то уверял, что он самозванец. Уверить народ в истинности Димитрия должна была его мать, инокиня Марфа, звавшаяся некогда царицей Марьей Федоровной Нагой.

А она не могла... Не могла сделать это, положив руку на сердце! Разве отыщешь в чертах двадцатичетырехлетнего мужчины черты двухлетнего ребенка, которого когда-то отняли у нее? Все эти годы Бельский даже от нее скрывал, жив ли Митенька, где он, что с ним.

Ее сомнения развеял брат Афанасий, подробно рассказав о замене, которую подстроил Бельский. Казалось бы, теперь инокиня Марфа могла вздохнуть свободно. Она была окружена почетом, какой прежде и не снился – ни в Угличе, ни даже при дворе Грозного, ни, само собой, в выксунской дремучей глуши. Сын советовался с ней по всякому поводу, даже и по государственным делам, он привез ей на поклон свою невесту – правда, выбранную помимо материнской воли, но что поделать?.. Уступая настояниям матушки, он велел Марине причаститься

⁸ «Вошел как лисица, царствовал как лев, умер как собака».

по православному обряду, приложиться к иконам и венчаться не в парижских юбках, которые не могли протиснуться в узенькие двери старомосковских дворцов, не в широченных воротниках, а в традиционном платье русских цариц. По виду сын был вполне счастлив – отчего же теснило сердце инокини Марфы? Не приучено оно было радоваться, вот что. Отвыкло быть счастливым, постоянно ожидало от судьбы нового подвоха. И дождалось!

...Перед рассветом ударили в набат, по всему Кремлю разбежались люди.

– Инокиню Марфу на площадь! На площадь! Пусть скажет, что расстригу своим сыном признала, пусть сознается! К ответу ее! – доносились крики.

Монахи забились в свои кельи, словно перепуганные куры. Но Марфа знала, что ей-то не отсидеться.

Кое-как скрепилась с силами – вышла на монастырское крыльцо. Вот этот же самый человек, что явился к ней нынче, Димитрий Шуйский, брат князя Василия, ждал ее там. Грубым, словно бы не своим, прежде всегда почтительным голосом велел немедля идти из Кремля на Красную площадь.

Она пошла, с трудом владея немеющими ногами. Ее так шатало, что пришлось кликнуть в сопровождающие двух монахинь, как ни боялись сестры покидать надежные стены обители. Путь этот, чудилось, был долог-долг, словно на Голгофу... и вот наконец на площади Марфа увидела страшное, нагое, неузнаваемое тело какого-то мужчины. И растерялась.

Не может, не может она признать ни любимого ребенка, ни ласкового сына-царя в этом окровавленном трупe. Вдруг он снова спасся, как тогда, в детстве, вдруг спрятался, затаился? Скажет Марфа: он, это царь! – и толпа запомнит это, а потом, когда он воскреснет, как воскрес уже однажды, это признание матери закроет ему путь к трону.

Она не знала, что делать, не знала! С трудом держалась на ногах, почти теряла сознание от страха.

Князь Василий Шуйский метался на своем покрытом пеною коне; борода князя была измарана кровью, словно он недавно ел человечину.

Надо было что-то говорить. Толпа смотрела на нее враждебно.

Что они хотят слышать? Что им сказать?

Марфа вдруг вспомнила: когда князь Скопин-Шуйский вез ее из Выксунского монастыря в Москву, она точно так же не знала, что сказать ждущему ее народу. И князь Михаил обронил, словно невзначай: «Горе тому, кто не признает в нем истинного сына Грозного! Народ растерзает сего неверующего!»

Марфа обрадовалась подсказке. Эта подсказка помогла ей принять решение...

Что же отвечать теперь?!

– Да какой он тебе сын! – крикнул вдруг какой-то рыжеватый молодой мужик с бледно-голубыми глазами.

И Марфа снова обрадовалась подсказке.

– Было бы меня спрашивать, когда он был жив. Такой, какой он есть сейчас, он, конечно, уже не мой! – загадочно ответила инокиня.

– Царица отреклась, отреклась от расстриги! – во весь голос закричал Шуйский, который услышал то, что хотел услышать...

Дальнейшего Марфа не видела: сомлела, повалилась на руки монахинь. Очнувшись уже в своей келье. Не помнила, как ее перенесли в монастырь, зато помнила тоску, которая владела ею даже в беспомощности. Вот теперь для нее уж точно все кончено на веки вечные. Пусть она спасла себе сегодня жизнь загадочными словами, однако жизнь сия будет безотраднa и уныла. Еще похуже небось, чем во дворце Грозного или в Угличе. Там она все-таки звалась царицей и могла надеяться хоть на какое-то будущее, пусть даже призрачное, словно сладкий сон. Теперь же время снов и надежд миновало. Вновь, совершенно так, как это уже было после Углича, Марфа осознала: она значила что-то, лишь пока была матерью своего сына. Теперь она никто,

потому что сама подтвердила людям: нет у нее сына! Она всенародно отреклась от Димитрия, словно бросила горсть земли в его могилу. Теперь она в руках его погубителей – как если вновь воротились времена Годунова... И тогда, и теперь она может рассчитывать только на чужую милость.

В монастырь уже пришел приказ отныне молиться за нового государя. Раньше, еще несколько дней назад, он звался князем Василием Шуйским. Теперь это царь и великий князь Василий Иванович... С чем же прислал он к инокине Марфе своего брата? Какую кару готовила ей новая власть? Неужели увезут ее из Москвы в дальние, вечно завьюженные дали? Отчего-то Выксунский монастырь представлялся ей занесенным снегом всегда, в любое время года, даже летом, в такой недостижимой, непроезжей глухомани был он расположен. Вспомнилась сырая, студеная келейка, столь низкая, что даже невеликая ростом инокиня Марфа не могла распрямиться в ней в полный рост, оттого и согнулась, сторбилась прежде времени. Вспомнилось ветхое рубище, кое носила не снимая из года в год, озноб непрекращающийся, стоптанные опорки на ногах, скудная, убогая еда и еле тлеющий огонек в печи...

Неужто ее вновь обрекут на эти мучения?!

Марфа пошатнулась, однако Шуйский не предложил ей сесть. Надменно глядя в огромные, испуганные черные глаза инокини, отчеканил:

– Прочти. Что молчишь, разве неграмотна? Читай же, ну! Вслух читай!

С трудом разбирая написанное, Марфа зашелестела откуда-то с середины послания:

– *«...Он ведовством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана Васильевича, омрачением бесовским прельстил в Польше и Москве многих людей, а нас самих и родственников наших устрашил смертью. Я боярам, дворянам и всем людям объявила об том тайно, а теперь явно, что он не наш сын, царевич Димитрий, а вор, богоотступник, еретик. А как он своим ведовством и чернокнижеством приехал из Путивля в Москву, то, ведая свое воровство, по нас не посылал долгое время, а прислал к нам своих советников и велел им беречь накрепко, чтобы к нам никто не приходил и с нами никто не разговаривал. А как велел нас к Москве привезти, и он на встрече был у нас один, а бояр и других людей никого с собою не пускал к нам и говорил нам с великим запретом, чтоб мне его не обличать, претя нам и всему нашему роду смертным убийством, чтоб нам тем на себя и на весь род свой злой смерти не навести, и посадил меня в монастырь, и приставил ко мне своих советников, и оберегать велел накрепко, чтоб его воровство было не явно, а я, из-за угрозы, объявить в народе его воровство не смела...»*

Дальше читать не достало сил. В горле пересохло, глаза начали слезиться. А тут еще память ужалила, как змея... Вот окончился путь из Выксунского монастыря. Привезли инокиню в Москву, к этому неведомому, назвавшемуся именем ее сына... Марфа бросилась из кареты – и оказалась в объятиях невысокого юноши, чья одежда была так и залита драгоценными камнями.

– Матушка! – вскричал он, задыхаясь. – Родненькая моя матушка!

Марфа смотрела на него, но ничего не видела от нахлынувших слез. Вцепилась в его руки, уткнулась в жесткое от множества драгоценностей ожерелье, не чувствуя, как камни царапают лицо. Дала волю слезам, которые копились все эти мучительные годы разлуки.

Вдыхала незнакомый запах, казавшийся ей родным...

– Она его признала! Мать признала сына! Он, это истинно он! Будь здоров, Богом хранимый государь! – неслись со всех сторон умиленные крики.

Марфа кое-как разлепила склеенные слезами ресницы, разомкнула стиснутые рыданием губы:

– Митенька, ох, душа моя, радость... Ты, это ты, дитя ненаглядное! О Господи!..

«... и посадил меня в монастырь, и приставил ко мне своих советников, и остерегать велел накрепко, чтоб его воровство было не явно, а я, из-за угрозы, объявить в народе его воровство не смела...»

Рука с письмом бессильно упала.

– Вишь ты, пожалел тебя, лгунью лживую, государь! – проворчал Шуйский, когда Марфа подняла на него огромные, полные страха глаза. – Защитил от народа, написал: ты-де упреждала его и бояр, что пред ними самозванец! А разве ты упреждала?

«Да ведь он же сам, сам князь Василий, громче всех кричал, что признает в моем Димитрии истинного сына Грозного! Кто же тут лжет?!» – чуть не воскликнула Марфа, но благоразумно сдержалась. Даже рот ладонью прикрыла, чтобы ни словечка лишнего не вылетело.

Кончилось для нее время споров и сомнений. Сейчас она всецело в руках этих людей. Это еще счастье, что от нее чего-то хотят! Может быть, исполни Марфа их просьбу, они будут к ней милосердны?..

Господи, помоги! Она все сделает, только помоги!

– Что мне с этим делать? – спросила чуть слышно.

– Разослать эту грамоту по всей русской земле от лица своего. Проси прощения у народа, что лгала ему, что с твоей помощью взошел на московский трон еретик и самозванец, да еще свою еретицу возвел!

– Разошлю, – кивнула Марфа. – Все сделаю, что велите. А... а со мной потом что станется? Куда меня? В... в Выксу?..

Страшное слово не шло с языка. Марфа боялась взглянуть на Шуйского.

Тот долго молчал, собрав губы в куриную гузку, явственно наслаждаясь страхом инокини, ее стыдом, ее унижением. Потом процедил снисходительно:

– Останешься здесь. Благодарю государя!

Марфа упала на колени, сложила руки...

Но она не благодарила. Она молила Господа о прощении. Господа – и погибшего сына своего, от которого только что отеклась навеки.

Май 1606 года, Москва, Кремль, бывший царицын дворец

Дня два над Кремлем реяла мертвая, тяжелая тишина, а потом вдруг снова ударили в колокола. Какие-то минуты женщины молча смотрели друг на друга, и в памяти каждой воскрес тот ужас, который разразился совсем недавно вслед за набатным звоном.

– Они хотят перебить нас всех! Нас всех до последнего! – взвизгнула Ядвига Тарло. – Они убьют Станислава и нас убьют!

Марина никогда не видела жену своего двоюродного брата, хорунжего перемышльского⁹ в такой истерике. Считала ее весьма недалекой домашней курицей, а в свите своей терпела только из-за родственных чувств. Однако совсем недавно Ядвига успела крепко удивить не только царицу, но и многих прочих. Когда в страшную ночь мятежа в их дом в Китай-городе ворвались москвитяне, жаждавшие крови поляков, всех без исключения, мужчин и женщин, и принялись рубить-крошить направо и налево, Ядвига бросилась к постели больного мужа и прикрыла его собой, истошно крича: «Не троньте моего Станислава, раньше меня убейте!» Это неожиданно тронуло мужиков: и Ядвигу, и Станислава все-таки пощадили, только обобрали до нитки, до последней рубашки, чуть ли не полунагих пригнали в Кремль. Теперь Станислав Тарло был отправлен вместе с прочими мужчинами и воеводой Мнишком в дом бывшего думного дьяка Афанасия Власьева, где их всех держали под охраной. Ядвигу же, придворную даму царицы, оставили при ней. Ничего не зная толком об участи и здоровье больного мужа, Ядвига впала в полубморочное оцепенение, а вот сейчас, при этом похоронно-тревожном звоне колоколов, очнулась – совершенно потеряла голову от нового припадка страха.

Марина увидела, что молодой стрелец, стоявший по ту сторону дверей, в сенях, вбежал в покои, услышав истошный крик Ядвиги, и замер, изрядно перепуганный. Казалось, эти измученные, одетые в лохмотья (все, что оставили им победители!), растрепанные, полуголодные женщины уже смирились со своей участью, боялись слово молвить и шевельнуться лишний раз, однако для несчастных чужие слезы – лишняя причина снова пролить свои. Для них крик и вой – как огонек для стога сена. Одна травинка займется – других уже не погасишь. Причем Ядвига хотя бы тревожилась о живом муже, а ведь сколько здесь собралось вдов и осиротевших дочерей, невест, лишившихся женихов! Каждая враз вспомнила и кровь, и крики, и невыносимый ужас, вершившийся от рассвета до заката 17 мая, пока бояре, возмутившие московскую толпу, не испугались того, чего сами же натворили, и не утихомирили ее. Но сколько потерь, сколько разбитых судеб, сколько канувших в невозвратимое прошлое надежд! Никакого про света в будущем, кроме как сидеть вот здесь и ожидать смерти!

Молодой стрелец стиснул алебарду да так и стал столбом, не зная, что делать, кого утихомиривать первой, то ли грозить, то ли сотоварищей звать на помощь. Только и знал, что растерянно озирался по сторонам. Среди всего этого громогласного вопления и плача спокойной оставалась только одна женщина в черном платье, сидевшая в уголке комнаты в парчовом кресле. При взгляде на ее напряженно прищуренные серые глаза и стиснутые губы стрелец неловко затоптался на месте. Вроде бы государыня-царица Марина Юрьевна... Правда, народ не успел присягнуть ей, в тот день как раз случился мятеж, однако она все ж была венчана на царство... Что и говорить, держится с достоинством, подобающим столь высокой особе, хотя росточком и сложением больше напоминает девочку. А ведь ей небось солоней солоного приходится. Прочие бабы да девицы польские хотя бы могут оплакивать своих дорогих погиб-

⁹ Хорунжи й – глава небольшого воинского подразделения с собственным знаменем – хоругвью.

ших, а ей и слезу не пророни по убитому мужу, государю Димитрию Ивановичу... царство ему небесное (стрелец перстами не посмел, а мысленно сотворил-таки крестное знамение). Стрелец вспомнил, как злорадно захохотал боярин Татищев, когда, сообщив бывшей царице о смерти мужа, увидел слезы на ее глазах. И с тех пор слезы эти высохли, словно бы навеки. Она сделалась будто каменная.

О чем она сейчас думает, мрачно сверкая глазами? Не о том ли, что и вдоха мужнего последнего не приняла, и похоронить супруга не могла?.. Кто б ей позволил! Труп бывшего царя три дня валялся на площади, потом был отвезен на божедомки¹⁰; затем же, когда начались с ним всякие кудесы (неведомой силой тело вновь и вновь возвращалось на площадь, а кругом в это время воцарился лютый мороз, невесть откуда доносились крики да вопли бесовские!), из земли вырыт, сожжен (и ведь не тотчас сгорел, а лишь когда порубили его на куски), а прахом выстрелили из пушки на запад, в сторону Польши, откуда некогда пришел самозванец. Ничего этого польская царица не видела, довольствовалась лишь слухами...

Молодой стрелец вздохнул. Хоть и еретичка, а все одно – баба. Жалко ее!

Он заметил, что, кроме развенчанной государыни, еще кое-как владела собой другая женщина: и собой постарше, и ростом повыше, и сложением покрепче. Она попыталась успокоить рыдающих, однако польская царица остановила ее и махнула рукой, словно приказала: дай ты им выплакаться! Та послушалась свою госпожу и села подле нее, пытаясь прикрыть косыной разорванное на груди платье. И тут стрелец со смущением вспомнил, что видел эту женщину валяющейся на полу, с задранными на голову юбками, с раскинутыми ногами... Тогда ей небось и платье порвали! Да, что и говорить, много он чего видел-перевидел в этой спальне, покаянно подумал стрелец... И тут обнаружил, что эта высокая женщина как-то особо пристально на него поглядывает. И не просто поглядывает, но и быстро-быстро говорит что-то своей госпоже на их свистящем да шипящем наречии, из которого русскому человеку с трудом удается разобрать два, хорошо – три слова.

Стрелец хотел было отшагнуть от порога (отчего-то тревожно сделалось, очень как-то стало не по себе), однако польская царица уже обратила на него взгляд своих серых очей и кивнула. Высокая женщина шагнула к двери и надменно приказала, непривычно выговаривая слова:

– Иди, мблodeц, тебя государыня требует.

Стрелец заморгал. Может, надо было сказать что-то вроде: «Никакая она не государыня, а еретичка и жена воровского царя!» – или совсем уж попросту: «А хрен ли мне до твоей государыни?»

Но он не посмел. Кивнул в ответ – и потопал чрез всю опочивальню, огибая кричащих и воющих баб и девок, потащился на поклон к этой еретичке, дщери вавилонской...

Подошел, значит. В ножки, конечно, падать не стал и поясного поклона не отвесил: не столько из чванства, сколько потому, что был при оружии. Выпрямился перед сидящей женщиной, алебардою пристукнул, воззрился выжидательно.

Она молчала, словно бы не знала по-русски или не снисходила до разговоров с каждым-всяким, – вместо нее заговорила та, другая, высокая:

– Государыня желает знать, отчего звонят в колокола.

– Нынче венчается на царство государь наш и великий князь Василий Иванович, – чинно, как по писаному, отвечивал стрелец.

Женщины молниеносно переглянулись, а потом бывшая государыня выдохнула:

– Ш-шуйский?..

Ей-богу, словно бы змея прошипела!

¹⁰ Божедомк и (жальник, убогий дом, скудельница) – так назывались общие могилы, а вернее, ямы, куда бросали трупы разбойников, неприкаянных бродяг, самоубийц.

– Кто ж другой, – пожал плечами стрелец.

– Дорвался-таки, сучье вымя! – фыркнула высокая женщина, а бывшая царица ничего больше не сказала: только губы стиснула и ресницы опустила. Лицо у нее сделалось все каменное – не поймешь, о чем она думает, что чувствует, что хотела бы сказать.

Стрелец потоптался, ожидая нового вопроса, но больше никто ничего не спрашивал. А потому стрелец счел себя вправе отойти и уже начал поворачиваться к женщинам спиной, как высокая цапнула его за плечо:

– Куда?! Разве государыня велела тебе удалиться?!

Стрелец вырвался и хотел было пояснить, какое ему дело до этой самой государыни и ее вопросов, однако сдержал бранные слова. Еретичка смотрела на него нерешительно, словно никак не могла отважиться что-то сказать...

– Ну, чего надо? – буркнул парень. – Говори скорей, чего хошь, а то придет караульный начальник – даст мне на орехи, что я тут с тобой бобы развожу.

– Какие орехи? Какие бобы? – прошептала она чуть ли не испуганно, но тотчас отмахнулась от этой несурзацы, совершенно непонятной каждому нерусскому человеку, и спросила:

– Как тебя зовут?

– А тебе зачем? – отчего-то насторожился парень. – На что тебе имя мое? В кумовья звать станешь, так не старайся, не пойду!

– Не хочешь говорить? – повела тонкой бровью полька. – Не надо. Я и так знаю, что зовут тебя Егором.

Он растерянно захлопал глазами. А ведь и впрямь! При рождении Треней назвали, поскольку он в семье третий сын, ну а крестили Егором, в честь святого мученика. Но откуда сие знает польская царица? Ох, кажется, не зря ее ведьмой кликали, ведьмой и колдуньей! Плохо дело, коли злая чаровница вызнает чье-то имя. На имя можно такую порчу навести, что ее потом никакой знахарь не развяжет! Ох, кажется, пропал Егорка, мамкин сын, совсем пропал!

Он уже воздел было персты для крестного знамения, как вдруг царица вцепилась в его руку своей крошечной, сухой, очень горячей ручкой и прошептала:

– Где Стефка? Что с ней? Знаешь что-нибудь о ней?

Егорка качнулся и чуть не сел, где стоял... Таким полымем в лицо бросилось, что он едва не отставил алебарду в сторонку и не начал прижимать ладони к горящим щекам.

Так вот оно что... так вот оно что!

Вмиг вспомнилось, как это все было, когда Никита заставил его поделить с собой ту польскую девчонку... ну, не больно-то пришлось заставлять! При виде ее у Егорки вся кровь взыграла, да он уже и был распален похотью, налюбовался, как другие имеют польских блудниц почему зря. А он никак не мог ни к одной подступиться: то робость мешала, то девки заняты были. И тут вдруг привалила удача...

Смотрел на ее красное от слез, от боли, унижения лицо, умирал от блаженства, ранее неведомого, и думал только об одном: вот ежели бы всегда так было!.. Конечно, он знал веселых девок, но такого с ним отродясь не было. Потом уже, когда все кончилось и девушка повалилась на пол, будто мертвая, Егорка поднялся на ноги, все еще ощущая сладкие судороги во всем теле, и провел рукой по лицу.

– Вопредел никак? – хохотнул Никита, и Егорка кивнул, а между тем утирал он не пот со лба, а смахивал слезы с глаз. Что-то сделала эта распутная девчонка с ним... не только с естеством, но и с сердцем. Не то ударить хотелось блудницу, которая враз сношалась с двумя мужиками, не то приголубить ее у груди своей. Схватить в охапку, прижать к себе – и уж никогда не отпускать. Ведь ежели порассудить – что она могла против них двух? Разве ей было сладить с распаленными мужиками? Силенки-то у нее все кончились, пока оборонялась от других, пока сабелькой махала! И Егорка подумал: что ж она так люто защищалась, ежели и

правда была такой блядью, как говорил Никита? Коли так, давно уже плюхнулась бы и ноги сама развела, ведь если она и впрямь блядь, то ей чем больше стебарей, тем оно лучше.

Уж не оболгал ли Никита эту польскую девчонку? Может статься, она ему от ворот поворот показала, вот он и озлобился, и навешал на нее собак. А Егорка и рад стараться...

Уже с раскаянием взглянул парень на измученное девичье тело. Не удержался – одернул задравшуюся рубашонку. Отчего-то невыносимо стало, что другие пялятся на эти нежные, высоко оголенные ноги. Начал расстегивать кафтан, чтобы прикрыть и голые плечи, и видную в вырезе рубахи грудь. Ему тошно сделалось, даже когда вокруг девушки засуетились ее подруги, пытаясь привести несчастную в чувство. Хотелось растолкать их, прочь отогнать, никого к ней не подпускать! Эх, забрать бы ее, унести к себе, в Стрелецкую слободу, отдать под мамушкин присмотр: «Вот тебе, маманя, девка-невестка. Имя ей Степанида... Степушка... Конечно, она еретической веры и речи не нашенской, и ни гроша не дадут за ней приданого, да это все ништо! Зато любя она твоему сыну так, как никакая купчиха с пятью сундуками любя не будет – ни купчиха, ни поповна, ни старостина дочь!»

Но кафтана расстегнуть Егорка не успел. В покои царицы ворвался боярин Борис Нащокин, а вслед за ним и сам Шуйский. Они, не скрывая, обрадовались, что польская царица жива и невредима, а на изнасилованных женщин поглядывали с ужасом. Видать, сами не ожидали, что может натворить распоясанная ими же самими вольница! Но при этом держались они высокомерно. Без малейшей жалости обрушили на голову царицы новость: муж-де ее, самозванный государь, вор и расстрига Димитрий, убит. Никакая она больше не царица, а должна сидеть под стражей, пока не успокоится народ, возмущенный зверствами «медведя плотоядного» – так Шуйский называл убитого царя. Потом бывшая царица будет препровождена к отцу, а там и решится их участь. Все же имущество свое она должна вернуть москвитам, у коих оно было награблено вором Димитрием, вернее, Гришкой. И тут же принялись раздавать стрельцам и мужикам какое-то барахло. Егорка успел заметить, что это были, конечно, не ларцы с самоцветами, а так – душегрейки, поневы, ленты, сапожки, гребни да зеркальца – все больше бабьи уборы. Но люди и тем довольны были. Наконец Шуйский сказал, что всяк может взять себе в рабыни девку из числа царицыных служающих. «И пусть, – сказал Шуйский, – ваши жены станут госпожами этим польским шлюхам!»

У Егорки при сих словах аж дыханье занялось. Выходило, что Бог услышал его молитву!.. Сейчас он кинется в ноги Шуйскому и попросит...

Но не успел он слова сказать, мол, хочет забрать к себе эту девку, не успел даже руку к ней протянуть, как вперед выступил Никита. И Степанида досталась ему, потому что Шуйский припомнил, как лихо расправлялся нынче с литвой сей черноглазый стрелец!

Никита взвалил бесчувственную девушку на плечо – да и был таков. Вслед за ним получили в награду женщин еще двое или трое, однако тут польская царица, которая до сего мгновения словно бы пребывала в некоем оцепенении, очнулась и вступилась за своих женщин. Крикнула Шуйскому, что все они – мужние жены, а разлучать жен с их супругами бесчинно даже для язычников, а не только для христиан, коими числят себя москвитяне.

Похоже было, что князь Василий устыдился. Стали судить да рядить, и порешили польских девок оставить в добычу стрельцам да боярам, а баб замужних все же воротить в царицыны палаты. Их и воротили – почти незамедлительно. Но девка Степанида – Степушка! – так и осталась в доме Никиты, в полной власти его жены Ефросиньи, бабы плаксивой да крикливой. Егорке ничего не оставалось, как позабыть свои глупые мечтания и смирить ретивое, которое ныло... ныло-таки! Но кто он был против Никиты? Мальчишка, щенок! Он даже старался пореже встречаться с тем, в ком видел прежде старшего товарища и почти брата.

Но вопрос польской царицы вновь разбередил рану, и он огрызнулся:

– Жива твоя девка, вот все, что я могу сказать. И коли Ефросинья, женка Никитина, ей глотку не перегрызет, глядишь, еще поживет.

С этими словами он торопливо вышел за дверь, ругательски ругая себя за то, что переступил порог этой комнаты, и зарекаясь делать это впредь.

– А ведь Стефка, похоже, пропадет... – задумчиво проронила Марина, когда белобрысый стрелец скрылся за дверью.

– Вот уж кто не пропадет никогда и нигде, покуда на свете есть хоть один мужчина, – хмыкнула Барбара. – Позвольте заметить, моя госпожа, наша участь гораздо печальней.

Марина только вздохнула, потому что Барбара Казановская, ее гофмейстерина, верная подруга и советчица, была права – как, впрочем, и всегда.

Будущее было темно и мрачно, как могила. С высоты сияющего трона она рухнула – ниже низшего. Мятежники, захватившие власть, не просто обобрали ее с отцом – они требуют еще и возмещения убытков, требуют заплатить все, что было потрачено Димитрием на государственное переустройство. У царицы Марины Юрьевны, которая венчалась в русском наряде, неподъемном от количества нашитых на него жемчугов и камней (одна головная повязка стоила непомерную, невероятную сумму – семьдесят тысяч рублей!), теперь осталось лишь одно черное платье, в кое она успела облачиться перед тем, как в ее покои ворвалась озверевшая толпа. Юбка заскорузла от крови убитого Янека Осмольского, но переодеться не во что. Сундуки пусты, в них ни тряпицы, ни рубашонки, ни пуговицы не осталось.

Да что говорить о тряпках? Жизнь и судьбы всех поляков, от самой Марины до последнего поваренка из свиты ее отца, воеводы сендомирского, всецело зависели теперь от милости победителей. Захотят те – и могут убить их, как убили уже многих. Захотят – отдадут в рабство к русским мужикам, как отдали Стефку и еще нескольких несчастных. Захотят – сошлют в Сибирь, на медленную смерть. Захотят – вернут в Польшу. Наверное, сейчас все соотечественники Марины больше всего хотели бы именно этого – воротиться домой.

Все... но только не она!

Она ведь не просто какая-то шляхтянка из Самбора, избранная русским царевичем в жены. Не только ради отцовского имени, но и ради любви к панне Марианне Мнишек совершал Димитрий свои подвиги! Именно неистовая страсть к ней, неодолимое желание посадить ее рядом с собой на трон окрыляли его и являлись движителями его свершений. Более того! Все прежние русские царицы, даже Анастасия, любимая супруга Ивана Грозного, были не более чем мужними женами, после смерти своих повелителей они становились ничем, пустым воспоминанием о прежних почестях и титулах. Марина же, прибыв в Россию, тотчас была венчана на царство – еще прежде, чем стала женой Димитрия. Она сама по себе была царицей – и оставалась ею теперь.

Кто таков Шуйский? Не более чем узурпатор, захвативший престол, свергнув законного государя. Шуйский еще хуже, чем омерзительный Годунов. Тот хотя бы дождался естественной смерти своего предшественника, Федора Ивановича. Годунову не надо было спешить – он и при живом царе являлся, по сути дела, правителем государства. Шуйский же рвался к трону, как опьяненный кровью зверь. Именно Шуйский выводил Марину из храма после венчания с Димитрием и вместе с ее отцом провожал молодую до брачной постели. А в это время плел паутину заговора и знал, что человек, которому клянется в вечной преданности, уже предан им – предан и обречен на смерть. Шуйский сам вор и самозванец, воссевший на престол при живой царице! И он должен, он должен быть свергнут, сброшен, низвержен. Русский трон принадлежит Марине Мнишек, царице-государыне Марине, принадлежит по праву.

Она тихонько вздохнула, и Барбара, исподтишка наблюдавшая за госпожой, невольно поежилась. Этот стальной блеск в глазах панны Марианны, эти стиснутые губы, эти сошедшие брови, окаменелые черты и затаенный вздох... Барбаре вдруг пришло на память затишье перед бурей – то недолгое мгновение благодати в природе перед тем, как пронесется вихрь, круша все на своем пути, без разбора, без жалости, без мысли.

– Они думают, я потонула в перевороте? Канула в безвестность? – с трудом разомкнув губы, вдруг произнесла Марина. – Нет! Этого они не дождутся. Я – русская царица! Я царица – и останусь ею до смерти!

Барбара молчала. Она знала: панна Марианна не прощает ничего, никому и никогда. Она будет мстить за свое поругание, за свою исковерканную судьбу. Мстить – даже если окажется, что это будет стоить ей жизни.

Да что такое жизнь? Это малость. Богобоязненная, истовая католичка Марианна Мнишек будет мстить, даже если ей придется заложить душу дьяволу!

Июнь 1606 года, Москва, дом митрополита Филарета

– Сударь, не вели казнить... – Старый слуга осторожно поскребся в дверь. – Человек до твоей милости.

Филарет с трудом поднял голову. Нынче он так устал, что даже не имел сил дойти до постели – задремал в широком кресле. Можно было, конечно, кликнуть людей – и раздели бы, и до ложа довели, – однако Филарету тошно видеть хоть одно лицо, даже своих слуг. Нагляделся на морды человечьи – до тошноты, до скрежета зубовного! Жалованный прежним государем, низверженным Димитрием, в чин патриарха Ростовского, он редко жаловал посещениями свою митрополию, предпочитая вершить все дела в Москве. Однако сейчас дорого дал бы, чтобы очутиться подальше от стольного града с его кознями, глумством, лисьими хитростями, изошренной ложью. Подальше от Кремля, в котором воссел ныне на престоле толстый, лысый, подслеповатый, плешивенький человек лет пятидесяти с лукавым выражением толстощекого лица.

Царем в России стал шубник...

Доходы князей Шуйских во многом зиждились на шубной торговле в Москве и близ нее, оттого и звался Василий Иванович в народе шубником. Ничтожное существо. И обиднее всего, что он сам, Филарет, более других приложил руку к возвышению сего ничтожного существа. Словно забыл, что предательство, ложь и обман являются потребностью Шуйского. Как ворон алчет мертвечины, а волк – крови, тот алкал лжи и измены. Однако прекрасно понимал, что сам по себе не способен внушить никому никакого доверия и сочувствия. И подобно тому, как безногие ищут подпор себе в клюках, Шуйский подпирал свои лжи и мошенничества при помощи людей, в народе почитаемых и уважаемых. Одной из таких подпорок служил для него Филарет – в миру Федор Никитич Романов, сын Никиты Романова, племянник покойной царицы Анастасии, первой и любимой жены Ивана Грозного. После гонений Годунова только двое – он, Федор, и брат его Иван – остались в живых из пятерых братьев Романовых, да и то Иван превратился преждевременно в старика, а Федор был насильственно пострижен, так же как и жена его, Ксения Шустова, ныне инокиня Марфа. А ведь именно он, Федор Романов, мог бы по праву требовать себе московского престола – по праву рождения, по праву старшинства. Он, а никак не шубник, называющий себя потомком Александра Невского, однако бывший всего лишь отраслью его брата Андрея...

А чего ты ожидал, боярин Романов? Если заглянешь в свою собственную душу, не кивнешь ли уныло, соглашаясь: ныне ты пожинаешь зрелые плоды собственных деяний! А посажено древо, с которого ты собираешь урожай, было в далеком 1584 году, когда умер царь Иван Васильевич, оставив престол вроде бы сыну Федору, а на самом деле – Годунову, его шурина. Именно тогда умнейший человек Богдан Бельский, провидя неисчислимые беды и козни, которые произойдут от временщика Бориски, задумал подменить царевича Димитрия другим ребенком. Федор и его старший брат Александр принимали в этом самое деятельное участие. Кому, как не Федору, было знать: 20 июня 1605 года Москва встречала истинного царевича, подлинного сына Ивана Грозного, прибывшего на челе соединенного русско-польского войска отвоевать наследственный престол!

Что же случилось потом? Отчего Федор Никитич, сиречь Филарет, ничтоже сумняшеся начал заявлять: на московском троне – самозванец и вор? Отчего он принял участие в заговоре Шубника... тьфу ты, Шуйского?

Оттого, что испугался Димитрия. Почти баснословный, почти выдуманный царевич, из которого равным образом надеялись вить веревки его спасители, Романовы и Бельский, а также поддержавшие его поляки, оказался отнюдь не робким мальчиком, но сильным, деятельным мужем. И те и другие просчитались. Димитрий не собирался никого слушать: ни благостных

русских, ни дерзких поляков. Россия была *его* страной, он намеревался править ею так, как хотел сам. Чудилось, этот царевич явился не из некоего темного традиционного кремлевского быта, а из неведомого и пугающего будущего. Ему не по нраву пришлось патриархальная, закрытая от мира Россия: он пытался отворить все наглухо заложенные двери и окна в этом издревле запертом тереме. Однако и происки приведших его в Москву иезуитов оказались напрасны: менять веру отцов, окатоличивать Россию Димитрий не собирался. Этот царь не желал быть игрушкой ни в чьих руках. Он желал править всерьез и надолго, и у такого мужчины, конечно, должны были родиться сыновья, столь же непреклонные, никому не подвластные, жадные до жизни, как их отец, и точно так же ни с кем не желающие делиться властью, как не желал делать это Димитрий. Федор-то Никитич тихо лелеял надежду на возвышение своего сына, которому пока что едва исполнилось десять лет. Мечтал: настанет время, вспомнят бояре о Мише Романове... Но приглядевшись повнимательнее к Димитрию, он понял, всем существом своим ощутил: при таком царе время Миши Романова никогда не настанет! Они с Бельским страшно ошиблись. Они еще обломают зубы о своего ставленника. А значит... а значит, созданный их усилиями призрак должен перестать существовать прежде, чем уничтожит своих же создателей.

Сам Филарет – монах, инок – не мог бороться за престол. Безродный Бельский тоже мало что значил, ведь благодаря усилиям Годунова он сделался всего лишь полузабытым олицетворением баснословных времен Ивана Грозного. В настоящее время Бельский и Романов могли только поддерживать Шуйского. Однако... однако и Шубник оказался лишь новым подтверждением старинной пословицы: «Пока тонет – топор сулит, а как вытащишь его – и топорща жаль».

Димитрий убит. Шуйский на престоле. За ним издавна тянулась слава скареда – князь Василий Иванович ее вполне оправдал, проведя венчание на царство так скромно, что можно было подумать: он стыдится этого счастливого события. На самом же деле он торжествовал. Так радовалась бы, должно быть, левая рука, которая вдруг стала правой! Кабы дать ему волю, думал Романов, небось новый царь сменил бы прозвание Шуйского на Десницкого!¹¹

Новый государь помиловал прежних сподвижников Димитрия, обещая никому не мстить за прошлое, однако и жаловать благами своих сотоварищей, возведших его на трон, не спешил. Бельский должен отправиться в Нижний, а Филарет – в свой Ростов. Каждый остался при своем – выиграл лишь князь Василий Иванович. И, словно в довершение унижения, кое предстояло пережить Филарету, чтобы окончательно осознать, какое ничтожество вознес он к вершинам власти, Шуйский именно ему повелел поехать в Углич за мощами царевича Димитрия.

Того самого, которого Бельский, Афанасий Нагой и Романовы когда-то подменили сыном захудалого дворянина Богдашки Нелидова! А мальчика этого, раненного Осипом Волоховым в шею, сердобольный Афоня, воспользовавшись суматохой, тайно вывез из Углича, и тот впоследствии сгинул неведомо куда, натворив немало страшных дел и отплатив своим благодетелям Романовым черной неблагодарностью. Воистину, чудны дела твои, Господи!

И вот Филарет, Федор Романов, доподлинно знавший, что во гробе никогда не лежал царевич Димитрий, принужден был... привезти в Москву его нетленные мощи. Ибо так ему было велено Шуйским, которому мало показалось предъявить народу труп убитого почти двадцать лет назад царевича – ему непременно понадобились мощи чудотворца.

Бедняги Нагие, Афанасий и Михаил, едва не умерли на месте. Мигом разъехались по своим вотчинам и засели там, словно крысы в норах. Уж кто-кто, а они-то прекрасно знали, *чей* труп был захоронен в Угличе в том страшном мае месяце...

В том-то и дело, что ничей. Не было там никакого трупа! Гроб опустили в яму пустым!

¹¹ Игра слов: «шуйя», «шуйща» означает – левая рука, «десна», «десница» – правая. То есть Шуйский – левый, второстепенный, а Десницкий – правый, основной.

Вот и тряслись Нагие, уповая лишь на Божие милосердие.

А вот Филарету уповать на него не приходилось, и деваться ему было решительно некуда. Шуйский заявил без всяких обиняков: или мощи Дмитрия Углицкого привозятся в Москву, прикрытые, словно покровом, неколебимой значительностью имени Романовых, всегда любимых народом, – или Федора Никитича ждет незамедлительная ссылка в Сибирь. Без всякой надежды на возвращение – ибо дорога в какой-нибудь Тобольск или Пустозерск долга и многотрудна, всякое может случиться с государевым преступником. Скажем, при переправе перевернется утлая лодчонка – а ведь на руках и ногах железы, разве выплывешь?..

И вот мощи были явлены Москве. Царь со всеми архиереями и архимандритами, с огромным числом духовенства, с боярами и думными людьми встречал их за Каменным городом. С царем рядом шла инокиня Марфа, звавшаяся некогда Марией Нагой, седьмой женой Ивана Грозного, подтверждая своим присутствием и действительность мощей, и ложность того, кого называли еще недавно царем Дмитрием Ивановичем. Мощи внесли в Архангельский собор и поставили на возвышении. Инокиня Марфа разлилась великими слезами и всенародно показала:

– Я виновата перед великим государем, царем и великим князем Василием Ивановичем всея Руси, и перед освященным собором, и перед всеми людьми Московского государства и всея Руси; а больше виновата перед новым мучеником – перед сыном моим, царевичем Дмитрием. Терпела я вору, расстриге, лютому еретiku и чернокнижнику, не объявляла его долго; а много крови христианской от него, богоотступника, лилось, и разорение христианской веры хотело учиниться; а делалось это по бедности моей, потому что, когда убили сына моего, Дмитрия-царевича, по Бориса Годунова велению, меня держали после того в великой нужде, и весь род мой был разослан по дальнейшим городам, и жили все в конечной злой нуже, – так я, по грехам, обрадовалась, что от великой и нестерпимой нужи освобождена, и не известила. А как он со мной виделся, и запретил мне злым запрещением, чтоб я не говорила ни с кем. Помилуйте меня, государь и весь народ московский, и простите, чтоб я не была в грехе и проклятельстве от всего мира!

Царь сказал, что ради великого государя, царя и великого князя Ивана Васильевича, и ради благоверного страстотерпца, царевича Дмитрия, честных и многоцелебных его мощей, прощает царицу, инокиню Марфу, и просит митрополитов, архиепископов и епископов, и весь освященный собор, чтобы они с ним вкупе о царице Марфе молили Бога и Пречистую Богородицу и всех святых, чтобы Бог показал свою милость и освободил ее душу от грехов.

Словом, сплошная лепота и благодать.

А мощи-то и впрямь выдались многоцелебны! Рассказывали, что, лишь только вскрыли в Угличе гроб царевича Дмитрия, тотчас начались чудесные исцеления, ну а в Москве они просто валом повалили: в первый день исцелились тринадцать человек, на другой день – еще двенадцать...

До Филарета, конечно, эти два дня доносились всякие разговоры... О том, например, что один купец бил себя в грудь и каялся, что продал государевым людям тело своего мертвого сына, мальчика семи лет – как раз возраста убитого Дмитрия. А потом узрел тело сына во гробе. Мертвый был одет в иное платье и вовсю творил чудеса! Другие уверяли, будто не купецкий сын лежит во гробе, а стрелецкий. Нашли-де мальчика по имени Ромашка, заплатили за него отцу большие деньги, убили и положили в Угличе на место Дмитрия. Положили – и распустили молву в народе, будто у тела Дмитрия делаются чудеса, будто исцеления совершаются. А ведь это один подлог: всякие здоровые плуты приходят и притворяются, будто они больны были и выздоровели, поклонившись мощам.

Да уж... за последние дни столько всякого навиделся Филарет, стоя у гроба, что диво, как зубы в крошку не источил, скрежеща ими втихомолку. Только раз и передохнул, когда введенный во храм больной не исцелился, а взял да и умер. Впрочем, пришлось объяснить это его

безверием. А потом Филарет сам слышал, как иноземцы спрашивают сидящих у церкви увечных да слепых: «Что же вас царевич не исцеляет?» – «По маловерию нашему, – ответствовали страдалцы. – Бог чрез ангела своего объявляет нашим архиереям и попам, кого он удостоит исцелить!»

Наконец-то издевательство закончилось, и Филарет смог воротиться домой. Принял чарочку, другую, отужинал, раскинулся вольно в своем укромном покойчике... Думал, снизойдет благодать душевная и отдохновение настанет, но ничуть не бывало: во рту было пакостно, словно не яствы дорогой откушал, а, к примеру, дождевых червей или еще чего более непотребного. На душе царило еще более мерзкое ощущение. И только-только стал успокаиваться, как принесла же нелегкая невесть кого!

А кого она, однако, принесла?..

Слуга, старый, преданный, обласканный еще покойным братом Александром Никитичем, кого попало в дом не впустит. Тем более что ему был отдан строгий наказ: не тревожить господина. Однако осмелился и потревожил... Значит, стряслось что-то и впрямь весьма важное.

Филарет внезапно сорвался со своего ложа: а если, храни Бог, беда с Мишей?!

В три шага достиг двери, распахнул ее:

– Что там такое, Матвейч?

Приникший к створкам старик отшатнулся в сторону, открыв взору Филарета невысокого худощавого мужчину, который отвесил поясной поклон и без спросу шагнул в покои. Повинуясь его небрежному взмаху, старик притворил дверь.

Филарет нахмурился. С чего это Матвейч так стелется перед этим неизвестным? Да, его лицо, вырванное из темноты колеблющимся пламенем трехсвечника, – молодое, худое, с каким-то голодным, жадным выражением бледно-голубых глаз, обросшее неровной рыжей бородкой, – было незнакомо Филарету. А впрочем, нет... Вроде бы он когда-то видел этого человека... давно-давно, и тот был без бороды... нет, не вспомнить! Да мало ли народу прошло за жизнь перед глазами – разве всех удержишь в памяти?

Да ведь это небось чей-нибудь слуга с тайным поручением, осенило вдруг Филарета, и непонятная тяжесть, прильнувшая было к душе, отлегла. В самом деле, что это он так взволновался, словно не какой-то невзрачный мужичонка постучался в дверь, а вестник судьбы?!

– Кто тебя прислал? – высокомерно спросил Филарет. – Ну, говори быстрее, недосуг мне тут со всяким...

– Никто меня не прислал, – передернул плечами пришелец, и Филарет заметил в вороте распахнувшейся голошейки ¹² старый, поблекший шрам, перечеркнувший его горло. – И я тебе не всякий. Я – один!

– Не всякий? Один? – дивясь такой наглости, вскинул брови Филарет. – Кто ж ты таков есть?!

– Не признал, Федор Никитич? – Губы незнакомца чуть раздвинулись в усмешке, в которой не было ничего веселого, а только скрытая угроза. – Не признал крестника?

– Какого еще крестника?! – сердито выкрикнул Филарет, непонятно чего испугавшись и пряча этот страх за гневом. – Нет у меня никакого крестника. Назовись, ну? Как твое имя, как прозвание?

– Имя мое – Димитрий, – сказал незванный гость. – А по батюшке – Иванович. Царевич Димитрий Иванович.

¹² Покрой старинной русской рубахи.

Июнь 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода

– Тетка Фрося, отвори. Да чего испугалась? Это я, Егор. Как живешь-можешь?

– С чего ты обо мне так озаботился?

– Да ведь я всегда... по-соседски... А Никита дома ли?

– Словно не знаешь, что он в карауле нынче? Небось для того и пришел, что хозяин в нетях.

– Забыл, тетенька, вот те крест святой, забыл. Ну а уж коли я тут, не позволишь ли взойти?

– Ох, парень, шел бы восояси. Добегаешься до беды! Скажу Никите, что ты тут ошиваешься, он же возьмет тебя за руки, за ноги, да и раздерет начетверо.

Молодой стрелец обиделся – так и стал на ступенях:

– Ну ладно-ка! Меня сперва возьми! А потом, с чего бы это Никите меня начетверо драть? Мы небось товарищи. Я ему помощник... вон, как напился Никита на крестинах у Яшки Лыкова, кто его домой приволок?

– Не помощник ты, а потатчик, – грустно усмехнулась хозяйка. – Ладно, входи в самом деле, коли пришел. И дверь затвори – мухи летят.

Егор стащил шапку и, чуть пригнувшись под низковатой притолокой, вошел в горницу. Перекрестился на иконы, но глаза так и шарили по сторонам.

– Вот-вот, – не то печально, не то ехидно пробормотала хозяйка, – губами Бога славишь, а взором беса шаришь.

Егорка покраснел:

– Какого беса? Чего ты, тетенька Фрося, право?..

И заюлил глазами, не зная, куда спрятать их от взгляда хозяйки. Чудилось, эта худенькая женщина видела его насквозь.

Никита был не больно-то намного старше Егора – тремя всего лишь годами, – однако жена товарища казалась молодому стрельцу чуть ли не ровесницей покойной матушки. И не столько оттого, что всегда была если не по-матерински, то по-сестрински приветлива и ласкова к парню, норвила угостить его своим вкусным печивом, побаловать свежими щами или жареной рыбой, до которой оба они большие охотники. Рядом с сильным, широкоплечим, громко-голосым Никитой она порой казалась иссохшей, робкой тенью прежней Ефросиньи. Да, Егор помнил жену товарища совсем другой.

Четыре года назад Никита сватал за себя певунью и плясунью, глазастую хохотушку. На дочь сотника Андрея Покровского таращились все молодые стрельцы, она могла выбрать самого завидного жениха. Таким и был первый красавец, удалец, молодец Никита Воронихин. Парни завидовали Никите, девки – Фросе, Никитина мать, Наталья, нахваливала бабам будущую сношеньку: и рукодельница-де она, и хозяйка отменная, и скромница, и приданым не обделена...

Чудилось, за этой счастливой парой сам Господь приглядывает, ан нет – за месяц до намеченной свадьбы вышла беда: Покровский погиб в бою с татарами, подступившими вплотную к Москве, дом чуть не два дня спустя сгорел при пожаре, которые тем летом вспыхивали в столице с ужасающей внезапностью. Люди баяли, мол, лиходеи жгут город по приказу царя Бориса, вознамерившегося наказать народ за разговоры о Димитрии-царевиче, который скоро придет отнять у Бориски незаконно присвоенный престол. Промыслом ли бесовским или человеческим, но пожар вспыхнул, хотя затронуло всего пять домов с самого края Стрелецкой слободы. Занялось среди ночи – Фросенька едва успела выскочить в чем была. Она осталась одна – бездомная сирота: мать померла еще раньше, Фрося ее почти и не помнила. Вместе с домом, сгоревшим дотла, сгнуло и все ее приданое, все отцовы заботливо припрятанные в подполе захоронки.

Увидав погорелицу, Наталья так поджала губы, что чудилось, не разожмет их вовек. Да и Никита явственно закручинился... А ведь бедную девку жалели все: сам полковник в память о заслугах ее отца наделил Фросеньку некоторыми деньгами и громогласно заявил, что почтит своим присутствием ее свадьбу. Злые языки утверждали, что после таких слов Воронихиным ничего не оставалось, как исполнить прежние обещания, чтобы не прослыть в глазах начальства клятвопреступниками, лгунами и жестокосердыми разбойниками. Бог их весть, чужая душа, конечно, потемки, однако не одним приметливым взглядом было замечено, что Никита под венцом стоял хмурый, как туча, а некогда медоточивая Наталья исшипелась на сноху, исщипала ей бока и руки: и стоишь-то не так, и глядишь не этак, и ступила не туда, и сказала не то...

Да, Фросенькино счастье сгорело в том же огне, что и ее приданое. Свекровь пилила ее безостановочно, изводила тяжелой работой, даже когда Фрося зачреватела, Наталья ее не щадила, никак не пыталась облегчить ее участь. А уж когда случился выкидыш и стало ясно, что больше детей у Фроси быть не может, жизнь ее поистине превратилась в ад. Никита, не скрываясь, не стыдясь соседей, жестоко бил жену. Ничего необычного в этом не было: люби жену как душу – трясина как грушу, гласит старинное присловье, однако в том-то и дело, что любовь Никиты давно сошла на нет. Мать своими попреками: даровой-де кусок заедает наша криворукая! – только подстрекала сына. Соседки, сердечно жалевшие молодку, от которой осталась ровно четверть прежней стати, лишь тень – от прежней красоты и ровно ничего – от веселости, втихомолку перекрестились, когда Господь прибрал-таки злонравную Наталью. Думали, может, теперь Ефросинья станет легче...

Легче не стало – напротив, сделалось куда тяжелей. Раньше, при жизни свекрови, бедная молодка могла хотя бы уповать на то, что это Наталья настраивает сына против жены-неудахи. Теперь же стало ясно: Никита и сам проклинает тот день и час, когда пошел с Фросей под венец. Конечно, она осталась хорошей хозяйкой, но муж словно и не замечал чистоты и уюта в доме, будто не разбирает вкуса подаваемых ему кушаний. Постель давно стала для бабенки мучением: при малейшей попытке приласкаться муж называл Ефросинью блядью и колотил почем зря, ну а когда она таила чувства, пыталась держаться скромницей, Никита не скупился на «ласковые» слова: бревно нерожавое, льдина-холодина, постылая да немилая... Он пил все чаще, все больше, а вскоре Ефросинья поняла, что Никита от нее погуливает. Да он особо и не скрывался: спать с женой он теперь не ложился, ночевать приходил не часто.

Доля женская – терпеть и ждать. Постепенно Фросенька притерпелась к такой новой жизни. Чем меньше внимания обращал на нее Никита, тем было легче: хоть не бьет! Эх, если бы у нее был ребенок...

Да, был бы ребенок! Тогда все сложилось бы иначе. Ей было бы кого любить... Но постепенно Фросенька смирилась и со своей бесплодностью. Она жила одним днем, как трава растет, едва поспевая передохнуть между двумя приступами мужниного беспричинного гнева.

Впрочем, отчего ж – беспричинного? Причина была только в ней. Фрося понимала, что Никита хотел бы другую жену: здоровую, а не больную, веселую, а не вечную печальницу с глубоко затаенным укором в глазах, ласковую игруню, а не пугливую смиренницу, вдобавок – заботливую мать выводка мальчишек, таких же белолицых, румяных да черноглазых, как сам Никита, с такими же вишневыми, тугими губами, вкус которых Фрося давно уже забыла и которые лишь иногда, во сне, являлись ей в воспоминаниях... тогда не хотелось просыпаться.

Спать бы и спать, вечно пребывая в тех незабываемых временах, когда Никита еще любил ее!

А что, если однажды заснуть и не проснуться?

Она начала втихомолку мечтать о смерти. Но о смерти милосердной, за которой не последовало бы расплаты ни ей, ни Никите. Если Ефросинья сама наложит на себя руки, гореть ей в адовом огне. Если Никита однажды убьет ее в ярости, муки посмертные ждут его. Ах, кабы

все свершилось само по себе... кабы однажды вечером, возвращаясь из церкви, попалась она лютому душегубу, который свернул бы ей шею... чтоб не особенно мучиться при этом. Хоть и настрадалась Ефросинья телесно за свою жизнь неисчислимо, она все же продолжала бояться боли.

Но душегуб-спаситель отчего-то не встречался Ефросинье. Зато в ее доме появилась душегубица...

Недели две назад Никиту словно подменили. Среди дня он ходил как пьяный, глаза его, чудилось, уплывали невесть куда, а с губ не шла улыбка – такая ласковая, такая нежная, что у Фросеньки щемило сердце. Вот таким же был Никита в те давние, незабытые времена их весны, их любви. Сейчас тоже стояла на дворе весна, буйствовала по дворам черемуха с ее горьким, безумным запахом, и Фросенька всем существом своим ощущала, что все вокруг готово сойти от счастья с ума. Вот и Никита сходил с ума, но от чего? От какого такого счастья?

Он даже к жене изменился – не то чтобы подобрел, но ни разу не отвесил тумака, ни разу не вызверился. Он ее словно не видел, как не видел лавок и столов, на которые натыкался – и не ощущал боли. Каждый день, каждую минуту Ефросинья исподтишка наблюдала за мужем, хоть видела его редко: Москва готовилась к государеву венчанию, охрану Кремля удвоили, а роту, где служил Никита, отрядили на обережение Вознесенского монастыря, где теперь жила польская невеста. Ефросинья узнавала об этом от соседок: Никита ничего и никогда жене не рассказывал.

А потом... потом что-то вновь случилось с мужем. Он спал с лица, почернел – и впервые за много дней, недель, даже месяцев пришел ночью к жене. Не ласкал – насиловал жестоко, а она терпела, грызла руки, чтобы не кричать от боли, чтобы не разозлить мужа. Глаза у него были безумные, а лицо такое – чудилось, убьет, если что не по его станется! Каким-то чутьем – вот именно, не человеческим пониманием, а почти звериным чутьем – Ефросинья поняла: не ее насилует Никита, не ее крови, страданий, криков жаждет, не ее чает убить. И вот тут-то ужалила ревность – да так, что Ефросинья едва не задохнулась от сердечной боли. Одно было знать, что Никита таскается по блядям, которые ко всем ласковы. Ну и посношался с ними, что ж такого, мужики без блуда не могут, а тело заплывчиво, дело забывчиво... И совсем другое – видеть его обезумевшим от обиды, от раны, нанесенной какой-то женщиной.

Муж снова исчез из дому на несколько дней. Ефросинья ждала, затаившись, маясь от предчувствия беды. Когда однажды на рассвете ударили в набат, невольно закричала, вскинувшись в постели. И слезы лились, лились весь тот день безостановочно. Отчего казалось, что теперь решается ее судьба?..

А вечером Никита воротился – и не один. Нес на плече бесчувственную девку. Свалил ее на пол в сенцах, глянул на Ефросинью и – сразу поняла жена – не увидел ее своими налитыми кровью глазами.

– Вот тебе служанка, – пробормотал, едва владея губами. – Делай с ней что хошь, хоть изруби в капусту. Гоняй в хвост и гриву, твоя она. Со свету сживи! Ремней со спины нарежь!

Он и сам не соображал, что кричал. Трясся весь от непонятной ярости, от злости.

«За что он ее так ненавидит?» – в первую минуту подумала ничего не понимающая Ефросинья.

Девка была как девка: беленькая, пухленькая, что оладушка. Только мятая вся, ободранная, полуголая – в одной рваной рубахе. Между ног кровь, на груди и шее следы зубов, руки в синяках. Губы вспухшие.

«Что с ней делали?!» – ужаснулась Ефросинья. И тотчас поняла – *что*, а еще поняла, *кто* это делал.

Никита. И не девку он ненавидит, а себя – за то, что содеял *это*. А еще все то же звериное, необъяснимое чутье подсказало Ефросинье: а ведь это та самая девка, из-за которой сходил с ума Никита. Сходил – и сошел-таки окончательно!

Ей бы преисполниться злорадством... но, как верная собака, которая кусает всякого, обиженного хозяина, Ефросинья преисполнилась ненавистью не к мужу, а к его мучительнице. И, увидав это раскинувшееся, белое, нежное тело (разве сама она в минувшие времена была хуже? Разве груди ее были не столь пышны?), она не смогла сдержаться: набросилась на беспомощную, бесчувственную девку, начала тормошить ее, бить, пинать, кричать что-то дурным голосом... Никита насилу отогнал жену, а утихомирил ее, только крепко приложив об стену.

Фрося давно отучилась плакать: даже когда бивал муж, утиралась, как кошка – лапкой, вскакивала на ноги и бежала что-нибудь ладить по хозяйству, ведомая немудреной бабьей хитростью: за делом боль избывается. А тут никак не могла успокоиться: выла да причитала, словно весь запас невыплаканных слез решила излить зараз. Никита сперва вызверился на жену, да Ефросинья завела в голос – он и плюнул, кинулся вон из избы, сжимая голову руками.

Фрося это едва ли заметила – захлебывалась от рыданий, не могла передохнуть, даже разогнуться сил не было, такая игла вонзалась в сердце, что снова скрючивалась в углу. Но постепенно ее сморила усталость, от слез заболели глаза, пересохло во рту от стенаний. Трясло ознобом; она свернулась клубком, пытаясь согреться (встать, идти куда-то, где теплее, чем на земляном полу настывших сеней, не было сил), как вдруг ощутила рядом что-то теплое. Бездумно прильнула к этому живому теплу, вздохнула – и внезапно провалилась не то в сон, не то в беспамятство. И так ей было хорошо, так спокойно... чудилось, в жизни не ощущала она ничего подобного, ну, разве что в незапамятные времена, когда засыпала рядом с мамушкой, прильнув к ее жаркому, сдобному боку...

Проснулась от смутной тревоги. С трудом разлепила склеенные слезами веки, подождала, пока глаза привыкнут к сумраку сеней... И не поверила тому, что увидела: оказывается, она лежит, прижавшись к этой драной белотелой девке, греясь от нее – и согревая ее своим телом. Видимо, и добыча Никитина тоже уснула, потому что Ефросинья увидела, что она сонно, непонимающе распахнула свои темные, словно спелые вишенки, глаза. В первое мгновение дернула рукой, словно хотела осенить себя крестным знаменем, однако тотчас замерла и с нескрываемым ужасом уставилась на хозяйку. Но Ефросинья поняла, что незнакомка испугалась не ее. Они обе враз проснулись от звука тяжелых шагов на крыльце, обе мгновенно смекнули: это возвращается Никита – и обе были до смерти напуганы этим.

Дверь распахнулась, на пороге замер вернувшийся хозяин. Позади него садилось солнце, и Ефросинье почудилось, будто фигура мужа окружена сполохами ад-ского пламени. Он какое-то время всматривался в полутьму, а потом с усилием вытолкнул из горла хриплый смешок:

– Вижу, поладили? Ну, вот и ладно. Давай, Стефка, иди на лавку ложись. Ешь тебя стану почем зря.

Язык его заплелся, и Ефросинья поняла, что муж чудовищно, беспросветно пьян. Давненько она его не видела таким! Что-то сейчас будет?... «Бедная, бедная...» – подумала она и с изумлением обнаружила, что жалеет не себя, а эту незнакомую приبلуду. Но вслед за языком заплелись и ноги Никиты: он грянулся на пол во весь рост. Грянулся – и замер недвижим.

«Убился!» – мелькнуло в голове Ефросиньи, и она оглянулась на девку. Та смотрела не то с ужасом, не то с надеждой, и Ефросинья вдруг подумала, что видит в ее лице отражение собственных чувств. Но тотчас Никита громко вздохнул, неуклюже перевернулся на спину – и громко захрапел.

Живой. Спит.

Ну, пока спит – не страшно!

– Помоги-ка, – велела Ефросинья, вставая и пытаясь приподнять каменно-тяжелое тело Никиты.

Девка шевельнулась – и тут же вся перекосилась, побелела, застонала.

Ефросинья покачала головой. Да, мало ей возни с беспомощным Никитою – еще и эта блядешка неведомая навязалась.

– Стефка... это что ж за имя такое нехристианское? – пробормотала она и была немало поражена, услышав ответ:

– Стефания... То по-польски. Сте-па-ни-да по-русски будет.

Голос у девушки был хриплый, сорванный – видать, кричала много нынче да плакала. Слова выговаривала слишком твердо, не по-русски. Ну да, ежели имя у нее польское, то и сама полька. Не из тех ли, кого нынче московский народ бил почем зря? Сама Ефросинья избиения не видела – соседки сказывали, крови-де иноземной пролили... Заодно с поляками и царя Дмитрия порешили!

Ну, до царя Ефросинье дела не было: одного порешили – другой сыщется, это уж всене-пременно. Была бы шея, а хомут найдется. Гораздо больше ее заботило, как они теперь уживаться станут с девкой Стефанией, а попросту – Степанидой? Для чего Никита приволок ее? Уж, верно, не для того, чтобы по хозяйству жене пособлять! Станет эта хорошенькая черноглазая беляночка греть ему постель... а Ефросинья, что же, за прислугу у них будет? Хотя нет, Никита говорил, девка, наоборот, ей в прислуги дадена. Зачем? Всю жизнь сама управлялась, какая еще, к лешему, прислуга нужна?! Ох, ничего она не понимает, ничегошеньки! И страшно, страшно отчего-то как!

В это мгновение снова заскрипели ступеньки под чьими-то торопливыми шагами, и на пороге возникла еще одна мужская фигура. Стефка при виде гостя взвизгнула, будто ее шилом ткнули, Ефросинья аж подскочила, взгляделась испуганно в пришедшего – и вздохнула с облегчением:

– Чего ты, дурная? Так заорала – я думала, тать лесной! А это ж Егорка Усов, нашла кого бояться.

Однако Стефка продолжала скулить и жалась к Ефросинье, словно котенок к мамке, чуть ли не под подол норвила забиться. Сосед, первый друг мужнин и гость-завсегдатай Егорка, тоже держался странно: топтался в дверях, не решаясь войти в дом, а на лице его – простеньком, конопатом, добродушном – застыло такое выражение, как будто его изнутри черти грызли. В голубых глазах блестели слезы, пухлые детские губы, окруженные едва заметной, белобрисой щетинкою, дрожали, пальцы мяли полу кафтана. Никогда Ефросинья не видела его таким и не могла не спросить:

– Что с тобой, Егорушка?

Парень поник головой.

Стефка перестала выть и тихо, горько плакала, порою отирая слезы краем Ефросиньина передника. Плечи Егора вдруг тоже начали дрожать, а потом, поминутно шмыгая носом, покаянно вздыхая и путаясь в словах, он рассказал обо всем, что произошло в царицыных покоях. И тогда Ефросинья подумала, как же глупа она была, что жаловалась на свою жизнь. Кажется, самое страшное в ней только начиналось...

Но человек привыкает ко всему. Шли дни. То, что в первое время казалось страшным и непереносимым, постепенно сделалось привычным. Да, Ефросинья привыкла к присутствию Стефки, к тому, что Никита всякую ночь, которую проводит дома, берет польскую девчонку к себе в постель. Днем же он не обращал на нее никакого внимания, словно на приبلудную кошку, и не уставал напоминать, что польская блудница – не более чем рабыня в их доме. Стефка сначала плакала, не осушая глаз, но спустя месяц немного ожила: с лица сошли синяки, на губах и в ярких, вишневых глазах порою вспыхивала улыбка. О нет, это происходило не тогда, когда она слышала пьяный рык Никиты:

– Эй, ты, блядища, а ну поди сюда, ложись!

В эти минуты Стефка напоминала человека, который движется во сне, одержим ночеходом¹³. А улыбалась она – и то лишь изредка, – когда с ней заговаривала Ефросинья. И... когда к Ворониным – конечно, в отсутствие хозяина! – заглядывал Егорка Усов.

¹³ То есть лунатизмом.

Июнь 1606 года, Москва, дом митрополита Филарета

– Да ты не бойся! – махнул гость на онемевшего хозяина и свободно прошел к столу, крытому парчовой скатертью. – И не гляди на меня так, словно я – ожившие мощи, кои вы нынче на потеху болванам выставили в Архангельском соборе. Может, те мощи и чудотворные, да не мои! Главное чудо, которое я покуда умудрился сотворить, – это в живых остаться.

Хохотнул, довольный остроотой, качнул чару, стоявшую на подносе, и недовольно поморщился: та оказалась пустая.

– Эй, Матвеич!

Дверь немедля распахнулась, и Филарет глазам своим не поверил: на пороге возник старый слуга с подносом в руках. Ишь ты... травничек и капуста, и грибочки, и медок сотовый... рыбка...

Что за притча? Филарет уже отужинал. Для кого же все это наготовлено?

Тотчас он получил ответ – для кого. Матвеич метал еду на стол с проворством невиданным, с поклонами да приветливыми поглядываниями на незваного гостя. Все его старческие морщины лучились счастливой улыбкою. Причем на хозяина он даже и не смотрел, и такое впечатление, прикрикни на него сейчас Филарет, затопай ногами: пошел-де вон! – Матвеич и не услышит. Зато безоговорочно повиновался снисходительному кивку прищельца и убрался за дверь, приговаривая:

– Кушай, свет мой батюшка, кушай во доброе здоровьице!

Свет его батюшка был, надо полагать, этот рыжебородый, и ему же предлежало пожелание доброго здоровьица...

Филарет опустил в кресло, отказываясь что-либо понимать.

Неужто недоверчивый, угрюмый Матвеич и впрямь поверил, будто незванный гость – чудом оживший Димитрий?! Ну, тогда старик совсем спятил. Незвестный лишь отдаленно похож на убитого царя мастью (волосы у них рыжеватые) да статью (оба невысоки ростом, худощавы, однако широкоплечи), но никак не напоминает бывшего государя чертами и цветом глаз. Кроме того, Филарет сам видел на Красной площади труп – это был истинно Димитрий, пусть и обезображенный, но все же он, он, вдобавок с такой дыркой напротив сердца, что никакая ни дьявольская, ни Божеская сила не могла бы его воскресить, что бы там ни болтали досужие люди.

А они, конечно, болтали... Болтунов этих ловили по приказу Шуйского, и был им один конец – камень на шею да в Москву-реку. Перед смертью они кричали, что умирают за истинного государя и что он жив. Не один ли из таких спятивших стоит (нет, уже нагло сидит!) сейчас перед Филаретом? Скорее всего так оно и есть! Ну, понятно: всякая козявка лезет в букашки, так уж заведено. А Матвеич по старости из ума выжил, вот и принял его бредни за чистую монету.

Ну что ж, как ни жаль Филарету будет расставаться со старым слугой, единственным, кто напоминал ему о брате Александре, а все ж придется послать Матвеича в деревню. Пришло время ему старые косточки на солнышке парить. Этого же... Димитрия... можно уничтожить насмешкою. А не удастся – кликнуть других слуг, менее доверчивых, нежели старик, и велеть выкинуть его вон, предварительно навешав таких тумачков, чтобы навеки позабыл свои опасные измышления и крамольные бредни.

– А я-то думал, что человека в пепел обратить можно, а вот пепел в человека – никак нельзя, – хмыкнул Филарет, пренебрежительно глядя на вольготно развалившегося «Димитрия Ивановича». – Тебя ж сожгли, как же ты вновь облик человеческий принял?

– Никто меня не жег, – на диво серьезно ответил гость. – Резать – резали, а жечь – Господь миловал.

– А, ну понятно, – кивнул Филарет, кривя губы в улыбке. – Станешь сказывать, что заранее знал о том, что тебя убить умышляют, и успел улизнуть, подсунув на свое царское ложе кого-то другого? Поведаеть, как он, сей подмененный бедолага, кричал: я-де не царь Димитрий, да его и слушать никто не стал?

– Ты меня тоже не слушал, – с укором сказал рыжебородый. – Разве я царем Димитрием назвался? Я назвался *царевичем* !

Филарет уставился на него, в первое мгновение ничего не поняв, и тогда рыжебородый, медленно очерив в улыбке щербатый рот, снова раздвинул ворот своей голошейки, обнажив едва заметный белесый шрам, перечеркнувший ему горло.

Филарет резко набрал в грудь воздух да так и замер... Догадка обрушилась на него, словно удар дубинкой по голове. Ноги подкосились, он неловко плюхнулся на лавку и какое-то время нелепо шевелил губами, чувствуя, что сейчас задохнется, но не в силах даже перевести дух. Наконец как-то справился с собой, прокашлялся.

– Узнал? – спросил этот... как его назвать – неведомо.

– Мудрено того узнать, кого никогда не видал, – все еще сдавленным голосом проронил Филарет. – Как докажешь, что это ты?

– А чего мне доказывать? – хмыкнул пугающий гость. – Ты на Матвейча погляди. Небось никак в толк не возьмешь, чего он предо мной пыль бородой разметает? А ведь мы с ним у брата твоего, Александра Никитича, оба некогда служили. Вот он по старой памяти и выстилается.

При этих словах Филарету почудилось, будто кто-то взял его за сердце ледяной рукой и стиснул что было силы.

– Юшка? – выхрипел он с болью. – Ты... Юшка? Ты – сын Отрепьев?!

Бледно-голубые глаза потемнели и сверкнули воистину адским огнем.

– Знаешь сам, что случилось с твоим братом после того, как он назвал меня этим именем, – угрожающе проронил гость, и Филарет поник в своем кресле.

Да. Он знал... Теперь он знал, что перед ним сидит тот самый человек, чьим истлевшим косточкам полагалось бы находиться во гробе, вскрытом в Угличе. Юшка Нелидов-Отрепьев, взятый за немалые деньги у своего многодетного, вконец обнищавшего отца взамен настоящего царевича, коего Богдан Бельский некогда сокрыл у каких-то верных людей... Когда Афанасий Нагой увез раненого подменыша из Углича, родной отец отказался принять его обратно: лишней-де рот. Дом Нелидовых-Отрепьевых находился неподалеку от имения Михаила Романова – так Юшка попал в семью, имевшую непосредственное касательство ко всей этой истории с подменой царевича. От Михаила он перекочевал к Александру, а потом... потом разразилась над всеми Романовыми страшная гроза. Какой-то слуга написал донос, будто Александр Никитич хранит у себя мешок с ядовитыми травами и жаждет отравить государя Бориса Федоровича Годунова. Оный государь спал и видел, как бы уничтожить любимых народом братьев Романовых, в каждом из которых он видел соперника. Донос пришелся как нельзя более кстати: Романовых выкорчевали из жизни, словно куст чертополоха из земли. Уже много лет спустя, при случайной встрече, Бельский поведал Филарету, кого он подозревал в написании доноса... Вот этого самого Юшку, который сидел сейчас перед Филаретом и нахально шурил свои блеклые глаза! Якобы Юшка сей обрюхатил какую-то девку на романовском подворье, а боярин Александр Никитич приказал охальнику девичий грех прикрыть свадьбой. Юшка же нагло заявил, что неместно ему, сыну государеву и природному царевичу, брать за себя простолюдинку. Романов расхохотался в лицо дерзцу и открыл ему правду о его происхождении. Юшка не пожелал поверить, начал угрожать хозяину, и тогда разъяренный Александр Никитич приказал его связать, заткнуть рот, а потом объявил сумасшедшим и отдал своему старому другу, настоятелю Чудова монастыря, отцу Пафнутию, который незамедлительно постриг зарвавшегося Юшку в монахи, дав ему имя Григорий. Увы, не крепки оказались монастырские замки,

не высоки стены. Новоявленный брат Григорий вскоре удрал из Чудова монастыря и растворился в темных российских просторах.

Каким-то загадочным образом – Филарет понять не мог, каким! – имя этого Гришки Отрепьева, монаха-расстриги, возникло в измышленном, клеветническом письме монаха Варлаама Яцкого, оттуда попало на язык Годунову и намертво прилипло к Димитрию – к истинному Димитрию, пепел которого ныне развеялся по ветру в западной стороне...

Но это произошло позднее. А поначалу Юшка, сиречь брат Григорий, обретя в монастыре относительную свободу, сквитался с Романовыми, написав на них донос...

Нет, конечно, доказано сие не было, это вполне могло оставаться только домыслом Бельского, которому Филарет прежде не очень-то верил, однако сейчас, поглядев в эти слишком светлые, пугающе-светлые глаза «царевича Димитрия», он вдруг осознал: все произошло именно так, а не иначе.

Итак, перед ним сидел убийца его братьев, погубитель семьи Романовых, виновник того, что на голову признанного щеголя и чуть ли не первого красавца Москвы Федора Никитича был нахлобучен клобук, что он был разлучен с семьей, терпел унижения, голод, холод, горькую нужу...

Черная кровь хлынула в голову! Филарет стиснул кулаки, потом потянулся было к колокольцу – позвать слуг, однако Гришка оказался проворнее и перехватил его руку.

– Не зови никого. Не надо! – сказал вкрадчиво. – Я убью тебя прежде, чем ты успеешь пикнуть. А Матвеич поможет мне уйти.

– Да чем ты Матвеича приворожил? – воскликнул Филарет. – Неужто одной только старой памятью?!

– Не только, – качнул головой Отрепьев. – Видишь ли, его внучка Манюня – моя прежняя любовница. Да и ныне меня своей милостью жалует, отказа у ней не знал – да и знать, верю, не буду никогда. У старика она одна родня осталась, ради ее блага он себя на куски даст изрезать. Поэтому он мне предан так, как никому другому предан не будет. Даже тебе.

– Зачем пришел? – с ненавистью спросил Филарет, вырывая руку из его холодных, влажных пальцев. – Убить меня? Весь наш род под корень свел – и меня решил прикончить?

– Ну сам посуди, – качнул головой Гришка, – за что меня коришь? Не я ваш род свел – вы Годунову поперек горла много лет стояли, он на вас давно зубы точил, вот и схватился за маломалейший повод с вами расправиться. Не мой извет¹⁴, так другой предлог к сему нашелся бы, а то и без всякого предлога обошелся бы наш Борис Федорович. Разве не так?

Правда в его словах, конечно, была. Романовы давно ходили по острию ножа, беспрестанно раздражая Годунова фамильной гордыней.

– А убивать тебя у меня и в мыслях нету, – продолжил Гришка. – Зачем? Ты мне нужен... как и я тебе.

– Ты?! Ты мне нужен? – с издевкой воскликнул Филарет. – Это на что же, позволь тебя спросить? Какая у меня в тебе может быть надобность?

– Да очень простая, – пожал плечами Гришка. – Шуйского с престола скovyрнуть. Или, может, ошибся я, и ты больно рад, что он до власти дорвался и вцепился в нее руками и ногами, присосался, аки паук к мухе?

Мгновение Филарет смотрел на него молча, потом провел рукой по лицу, перевел дух... Наверное, для кого-то постороннего это прозвучало бы нелепо, даже дико, однако же Филарет почувствовал что-то вроде облегчения. С этим человеком не надо притворяться, говорить намеками, иносказаниями, с ним можно быть самим собой. Он все понимает с полуслова. В чем-то незванный гость и Филарет – два сапога пара...

¹⁴ Клеветнический донос.

Конечно, этот Гришка Отрепьев предатель и убийца, достойный отмщения, – однако месть долго ждала, может еще погодить. Сейчас важнее другое.

– Не рад я Шуйскому, – кивнул Филарет, – что верно, то верно. Однако все же в толк не возьму, ты чем моему горю пособить можешь.

Гришка медленно жевал хлебную горбушку, изредка обмакивая ее в мед, запивая крепчайшим травником, словно простой водой. На Матвеевичевы разносолы он и не глядел. Значит, был неприхотлив в еде и весьма крепок в выпивке.

– На днях шлялся я по Красной площади, – неразборчиво пробормотал гость. – Видал на Лобном месте бабу какую-то и мужика. Они крест целовали, мол, кровные мы Гришке Отрепьеву – сиречь бывшему царю Димитрию, самозванцу. Баба-де мать его, мужик – брательник. Тошно мне стало на лжу такую глядеть.

– Отчего ты знаешь, что это ложь? – не удержался от злоехидства Филарет. – Неужто на Отрепьевых обиделся?

– Не, это не Отрепьевы, – мотнул головой гость. – Они уж давно на том свете.

– Померли? Неужто всех Бог прибрал? Всех до единого? – удивился Филарет, смутно помнивший, что в семье Нелидовых была куча ребятни мал мала меньше.

– Всех до единого, – кивнул гость. – Вдобавок в одночасье. Вот беда какая.

– И впрямь беда, – посочувствовал Филарет. – И как же это вышло? Мор напал? Или злые люди порешили?

– Пожар споделялся, – пояснил Юшка. – Разом дом занялся, никто не выскочил. Даже и на помощь позвать не успели: кто в дыму не задохнулся, того придавило. Домишко-то старый, одно название, что усадьба. Стропила насквозь прогнили – крыша сразу и рухнула.

Филарет призадумался. Откуда ему известны такие подробности?.. Покосился на Отрепьева – и перехватил его усмешливый взгляд.

– Боже, Господи! – проронил, холодея. – Неужели?..

– А как ты думал? – сделал простодушное лицо гость. – Неужели ж я стану ждать, пока Шубник до той старинной истории докопается и с подлинных Отрепьевых пыль стряхнет? Или еще кто начнет про меня басни плести? Знаю, как легко сие делается: сам под именем Варлаама Яцкого такие словесные бусы нанизывал, что до сих пор вспомнить приятно. Не-ет, я предпочитаю опережать события. А для этого мне нужны только такие люди, кто во мне узнает меня истинного – царевича Димитрия, а не какого-то там сына дворянского безродного! Вот такие, как ты.

Несмотря на страх, Филарет не смог сдержать возмущения:

– Да в уме ли ты? Каков мне прок?..

И осекся. Но Гришка уже кривил рот в своей щербатой ухмылке:

– Люблю за прямоту, люблю! Какой прок, говоришь? Правильный вопрос! При Василии Ивановиче тебе так и прозябать в Ростовской митрополии до скончания веков, а вот при мне... патриархом всей России станешь, вторым после меня человеком. Коли детей мне Бог не даст, сына твоего наследником престола назову!

– Ты уж о детях мечтаешь? – хмыкнул Филарет. – И с кем заделать их намерился? С внучкой моего Матвееча, с этой, как ее там... с Манюней? Или женат на другой?

– Эва сказал, с Манюней! – пренебрежительно отмахнулся Гришка. – Хотя она, конечно, баба добрая и за меня в огонь и воду, да только какая с Манюни царица? Нет, она свое место знает. К тому ж разве тебе не ведомо, что царь Димитрий уже женат? На Марине Юрьевне женат и повенчан с ней по нашему православному обряду? И другой жены мне не надобно.

– Погоди, – всерьез озадачился Филарет. – Ты что же, и впрямь задумал на *его* место заступить? А я-то решил, ты все сызнова начать собираешься.

– Была такая дума, – признался Отрепьев. – Да хлопотное это дело. Все снова-здорово заводить, опять углицкую байку ворошить, опять инокиню Марфу к ответу призывать... А тут из Путивля уже весть прошла – жив-де я. Слышал небось?

Филарет испытующе поглядел на пугающего гостя. Да, он слышал от верных, совершенно надежных людей: князь-де Григорий Шаховской и Мишка Молчанов, друг и приятель царя Дмитрия, всюду распускают слухи, будто он жив, и находятся люди как в Польше, так и в России, которые им не только верят, но и готовы подтвердить измышление нового царя. Вот только еще неведомо, кого назовут именем Дмитрия. Будет ли это Богданко, секретарь первого Дмитрия для переписки на русском языке (польские дела царя вел Ян Бучинский)? Богданко после переворота бежал якобы в Могилев, там и отсидивается ныне в доме какого-то протопопа, между делом сожительствуя с протопопицей. Болтали также, что царем Дмитрием назвался попович из Северной области Матюша Веревкин, или какой-то Алешка Рукин из Москвы (попович тож), или сын князя Андрея Курбского, великого политического противника Ивана Грозного. Упоминали какого-то учителя из маленького городка Сокола; чеха из Праги, служившего среди драбантов первого Дмитрия; какого-то сына боярского из Стародуба, ну а также некоего еврея.

Конечно, рассуждал Филарет, «родиться» второй Дмитрием мог бы и в Польше. Друзья и родичи воеводы сендомирского, который вместе с дочерью, развенчанной царицей Мариной, ждет сейчас решения своей участи в Москве, вполне способны отыскать какого-нибудь хитрого, продувного плута, который может бойко читать и говорить по-русски. Он может вы зубрить с чужих слов все приключения, случившиеся с его предшественником в Польше и России, и... отдаться на волю своей судьбы и польских отрядов, которые, говорили, уже собирал некий полковник Меховецкий!

Вопрос удачи и Меховецкого, и Мнишков, и «озорника» Шаховского, и всех тех, кто в Москве осторожно шепчется о возможном воскресении Дмитрия (нет, ну в самом деле, спасся же он единожды в Угличе – отчего бы не спастись вновь в Москве?), лишь в одном: насколько точно будет соответствовать новый самозванец своему образу. Насколько окажется правдоподобен, достоверен, похож... нет, даже не на прежнего Дмитрия, сколько на царя вообще. Дмитрий первый так легко вызывал к себе доверие именно потому, что был истинным сыном Грозного. Ему не надо было притворяться наследником трона – он был им!

Второму Дмитрию в этом смысле придется гораздо сложнее. Тут мало просто сказать: «аз». Надо произнести также «буки», «веди», «глаголь», «добро»... дойти и до фиты.

А ведь очень просто можно дойти только до глаголя... на нем и повиснуть!¹⁵

Филарет оценивающе посмотрел на своего собеседника. По речи слышно, что человек сей не чужд грамоте, более того, знает и латынь. Держится с сознанием собственной правоты – ну еще бы, ведь четверть века прожил в полной уверенности, что час его еще пробьет!

Вот в этом и сила нежданного гостя. Дмитрий первый *был* наследным государем, Дмитрий второй *уверен*, что является им. Разница существенная... а так ли это? Говорят же, вера-де горами двигает.

И тут Филарет обнаружил, что уже с меньшей ненавистью смотрит на пугающего своего посетителя. Он, конечно, негодяй, однако... Федору Никитичу Романову приходилось читать труды древнеримского медика Галена, и он запомнил: одно и то же вещество может быть и целебным, и смертоносным – все дело лишь в том, как его применить. Может статься, Юшка Отрепьев сейчас – змея, уже выпустившая свой яд. Она способна укубить – довольно-таки болезненно, она может здорово напугать, однако она уже не смертельна. Но знает об этом только Филарет... Для Шуйского и его присных возникновение сего человека – внешне похо-

¹⁵ Игра слов: глагол ь – название буквы Г, по виду напоминающей виселицу, которая тоже иногда именовалась «глаголь».

жего на Дмитрия, знающего его жизнь как свою, а главное – убежденного в своей стезе, в своей судьбе, – смертельно, жутко, кошмарно, это мука адова при жизни!

Все, чего не хватает Отрепьеву, чтобы ринуться в бой против Шубника, – это подпоры в виде денег, войск и верных людей, которые ничтоже сумняшеся начнут титуловать его государем и отвешивать ему поклоны. Да велика беда, шея не былинка, не перело-мится...

Стало быть, так. С одной стороны, Дмитрию нужно то, что есть у Шаховского, Меховецкого, у самого Филарета: силы, средства, весомость имени. Им всем, в свою очередь, нужен человек, способный скovyрнуть Шубника, предварительно крепко попортив ему кровушку.

Так почему бы не соединить усилия?!

Ноябрь 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода

– Крещается раб Божий Николай! – провозвестил батюшка, окуная младенца в купель и тотчас вынимая.

Капли звучно падали с голенького тельца в воду. Мальчонка хватал ротишком воздух, тарасился по сторонам бессмысленно-испуганными глазенками, но не орал, ничего, вытерпел обряд. Не заплакал даже, когда крестная мать, Матрена Ильинична, не очень ловко с отвычки (минуло уж двадцать с лишком годков, как нянчила она своих дочек, а внуков Господь покуда не дал) приняла младенца на руки. Правда, сморщился досадливо, выпятил губы, но стоило Ефросинье, высунувшись из-за плеча кумы, тихонько шепнуть:

– Тише, миленок, тише, негоже в Божьем доме шуметь, – как малый тотчас растянул губешки в беззубую улыбку и начал водить своими черными глазками, выискивая Ефросинью. Нашел, улыбнулся еще шире, но тотчас закрыл глаза. Улыбка медленно сползла с его щекастого личика, губки сложились смешным кувшинчиком – малыш уснул.

– Ах ты, мамкин сын! – умилилась Матрена Ильинична. – Ангел Божий! Хорошее имя для него выбрали. По нраву мне, когда имена в честь угодников даются, а не в честь мучеников. Волоки потом всю жизнь на себе все его мучения!

– Воля мужнина была, – тихо ответила Ефросинья, перенимая младенца. – Что отписал мне, то я и исполнила.

– Ну да, ну да, Никита ведь у нас по батюшке Николаевич, да и нынче у нас Никола-холодный, февральский. Ненароком совпало, или нарочно подгадали?

– Нарочно. Никита писал, чтобы в деревне дитя не крестили, велел в Москву как раз на Николу воротиться, чтоб по отцу своему наименовать. Мы и поспешили с младенчиком, – обстоятельно отвечала Ефросинья, то вскидывая глаза на разморенную духотой куму (во храме, по зимнему времени, было необычайно жарко натоплено), то опуская взгляд к лицу спящего ребенка. – Думали, войско к сей поре воротится, ан нет – пришлось без Никиты сына крестить. И то, сколько же можно нехристом годовать, чай, скоро месяц минует, а все Богдашка да Богдашка ¹⁶!

– Верно, верно, пора, куда долее годить, нехристей-то Господь куда как охотно приближает, – закивала кума. – А пропой когда ладить намерена?

– Ну это уж когда муж воротится, – отвела взор Ефросинья. – Без мужика попойку в доме устраивать негоже. Вот опростаем с вами по малой чарочке – и довольно.

Матрена Ильинична добродушно кивнула в сторону кума:

– А старому нальешь ли? Небось он уже с утра столько принял, что вот-вот упадет.

Правда была ее – и нынче с утра, и все дни, предшествующие крестинам, Ефросинья не жалела для старика водки, вина, браги, пива, благо во хмелю он не буйствовал, а напротив – с каждым глотком становился все тише, все молчаливей.

Звали его Кузьма, и это был Никитин дед, да не родной, а двоюродный. У него в Тушине прожила Ефросинья все лето, в его избе родился Николушка. Дед Кузьма был глух как пень, подслеповат и малость придурковат. Добиться от него хоть каких-то рассказов, как жилось им в Тушине, оказалось не по силам даже неумолимой говорунье Матрене Ильиничне.

Оно конечно, разумнее было позвать в кумы какую-нибудь соседку, теперь бабы небось все на Ефросинью разобиделись, однако у Матрены Ильиничны имелось одно неоценимое качество: она уже завтра покидала Москву. Это была старинная подруга Ефросиньиной матери, жена тверского гостя, который на несколько дней приехал в Москву да и прихватил супругу

¹⁶ По старинному обычаю всех некрещеных детей именовали Богдашками, под этим же именем и хоронили, если они умирали до крестин, согласно пословице: «Бог дал, Бог и взял!»

с собой. Муж был целыми днями занят, Матрена побегала по родне да и, соскучившись, решила наудачу заглянуть в Стрелецкую слободу, разыскать Ефросинью, дочку своей покойной подруги Глашеньки. Встреча вышла радостная, Матрена Ильинична была безмерно польщена тем, что сделается крестной матерью Ефросиньиного первенца, и без конца молола языком, выражая свой восторг. Поудивлявшись тому, как жизнь сводит и разводит людей, Матрена Ильинична перепорхнула к единственному предмету, который ее интересовал: к собственной жизни. Она сама, ее муж, ее дочери, удачно пристроенные за добрых, работающих, удачливых людей, но еще не подарившие старикам внуков, даром что были замужем одна год, другая два, а старшая – три года...

– Но ведь ты, Ефросинюшка, в замужестве четыре с лишком года жила, а все не рожала никак? – без конца спрашивала Матрена Ильинична, снова и снова черпая надежду в ответах Ефросиньи:

– Не рожала, верно, а потом смилоствивился Господь, даровал мне дитяту.

– Молилась ты небось денно и ношно? – не унималась гостья, и Ефросинья терпеливо кивала:

– А как же без молитвы? Без нее никак и никуда. Молитесь и вы с дочками – все по-вашему и сбудется.

Наконец они вышли из церкви и, поблуждав по кривым улочкам Стрелецкой слободы, оказались у дома Ворониных. Окошко мерцало ярким огоньком, и Матрена Ильинична показала на него хозяйке:

– Кто-то дома. Может, Никита приехал?

– Да нет, небось Стешка оправилась да за прялку села, время коротать.

Матрена Ильинична поджала губы... Сказать правду, эта белобрысая девка оказалась единственной ложкой дегтя, которая подпортила медовую, сладкую встречу с Ефросинюшкой. По словам хозяйки, это была польская рабыня, подаренная стрельцу Воронихину за его самоотверженное участие в побиении шляхтичей. Однако для рабыни девка оказалась слишком угрюма и неочестлива. На все расспросы Матрены Ильиничны Стешка больше отмалчивалась, отделяваясь лишь двумя-тремя словечками:

– Не могу по-русски говорить.

Или:

– Не понимаю, сударыня.

Матрене Ильиничне очень хотелось отвесить строптивнице пару оплеух, но, первое, не суйся со своим уставом в чужой монастырь, а второе, ее обезоруживало слово «сударыня». Вдобавок Стешка отчего-то хворала, и по большей части Ефросинья управлялась с хозяйством сама.

– Больно уж ты жалостлива, мать моя, – ворчала Матрена Ильинична. – Ведь недавно после родин, тебе лежать бы да лежать, а чугуны на стол пускай эта ленивица ворочает да пироги печет.

– Ничего, что мне делается, – отмахивалась Ефросинья, хлопоча. – Бабу, сама знаешь, тетенька, в ступе не утолчешь!

Вот и сейчас, придя из храма и положив мальчика в зыбку, она сразу принялась накрывать на стол. Стешка сиднем сидела у прялки, а когда Матрена Ильинична попыталась ее турнуть, Ефросинья глянула умоляюще:

– Оставь хворую, тетенька, я сама все слажу.

Оно конечно, выглядела Стешка – краше в гроб кладут, тощая, еще тощее худущей Ефросиньи, вот только на диво полногрудая. Да что проку! Глаза окружены темными тенями, нос заострился... Хворая, как есть хворая! Однако Господь терпел и нам велел, оттого Матрена Ильинична на доброе слово для рабыни не расщедрилась, только и пробормотала, укоризненно поглядев на Ефросинью:

– Больно жалостливая ты, девонька моя. С таким сердцем недолго проживешь. Эх, беда, муженек твой в походе, а то, гляжу, все у вас не как у людей.

Правда что, странностей в жизни Ворониных обнаружилось немало. Жалостливая к ленивой Стешке хозяйка – это еще ничего! Чего стоил полусумасшедший Никитин дедок, который напился до того, что лыка не вязал. Когда мирно сопевший Николушка пробудился и заорал, требуя, чтобы его покормили, дед Кузьма выхватил его из колыбели и, вместо того чтобы подать матери, сунул в руки Стешке, которая так и коротала вечер за прялкой!

Бедная девка до дрожи испугалась младенчика, Матрене Ильиничне даже померещилось, что она выронит дитя на пол, но подросла Ефросинья, схватила сына на руки и сунула ему в рот тряпицу, подвязанную к глиняному сосудику с молоком. Матрена Ильинична уже знала, что молока у Ефросиньи нет, свернулось на третий день после родов, она кормила малого козьим да коровьим молочком, разводя водичкою. По всему судя, к животному молоку младенец еще не привык, тряпицу сосал неохотно, скоро выкинул ее изо рта и задремал, недовольно побряхтывая. Повалился спать на лавку и дедка Кузьма, вскоре ушла в боковушку Стешка, ну а Матрена Ильинична еще долго занимала хозяйку разговорами, пока не спохватилась, что время позднее, надо успеть воротиться до первой стражи, не то муж с ума сойдет от тревоги за пропавшую бабу.

Ефросинья пошла проводить гостью, но на окраине слободы Матрена встретила с мужем, который уже отправился отыскивать загулявшую женку. Распростились, облобызались – да и расстались, пожелав друг дружке неисчислимых благ и крепкого здоровья.

Ефросинья опроретью кинулась домой. Конечно, Стрелецкая слобода – место строгое, в отличие от прочей Москвы, где по ночам не таясь пошаливают, в слободе можно себя чувствовать спокойно, как на собственном подворье, а все-таки она бежала со всех ног. Чувствовать бы облегчение, что Николушка, светик ненаглядный, окрещен, что свалила с плеч докучливую Матрену Ильиничну (дай ей Бог здоровья, вот кому голову задурить удалось запросто, ни с одной из соседок-стрельчих не удалось бы избежать пристальных расспросов!), что завтра чуть свет отправится восвояси в свое Тушино и дед Кузьма, и тогда они со Стешкой и младенчиком останутся наконец одни. Никита еще невеста когда из похода воротится, хотя, по слухам, Болотников уже сдался царскому войску. Ну что ж, хоть малое время, а пока им можно дышать спокойно.

А что будет потом? Неужто не смягчится, неужто не растает недоброе, холодное Никитино сердце при виде ангела Божия Николашеньки?

Ефросинья невольно разулыбалась, вспоминая черные, круто загнутые реснички, окружавшие яркие, черные глаза младенчика, легкий белесый пушок на его головушке. Счастливые слезы против воли навернулись на глаза, так, с просветленной улыбкою, она и вбежала в избу.

Стефка, сидевшая с ребенком на коленях, привскочила было, запахивая раскрытую пазуху, но тотчас успокоенно улыбнулась:

– А, то ты...

– Я, кто другой, – кивнула Ефросинья. – А что, проснулся младенец наш?

– Проснулся и так заревел, я испугалась, не только деда Кузьму, но и всех соседей разбудит. Ну и вот, дала ему грудь, – ответила Стефка, и кабы слышала ее ответ Матрена Ильинична, то была бы немало изумлена: молодая женщина говорила по-русски вполне чисто, чужеземщиной от ее речи веяло едва-едва, словно легким ветерком.

– Ой, беда, я уж думала, тетенька Матрена никогда не уйдет, боялась, ночевать останется, и тогда поплачет наш малой с голодухи! – засмеялась Ефросинья. – Ишь ты, как чмокает, радость!

– Начмокался уж, – спокойно ответила Стефка, выпрастывая из сонного ротика набухший, покрытый молочными пленками сосок тугой, пышной груди. – Вон, гляди, засыпает... спит уже. Прими-ка его.

Ефросинья подлетела как на крыльях, бережно подхватила младенчика и жадно, ненасытно осыпала его взопревший лобик поцелуями.

– Дитячко... дитячко мое ненаглядное! Сыночек пресветлый! – бормотала она, задыхаясь от любви – такой любви, какой не ощущала никогда в жизни. Слезы снова подкатили к глазам, она всхлипнула – и тут же услышала ответный всхлип.

Подняла взгляд – Стефка сидела, согнувшись в три погибели, спрятав лицо в ладони, плечи ее тряслись.

Ефросинья осторожно опустила ребенка в зыбку, подошла к девушке и погладила ее по плечу. Стефка вскинула залитое слезами лицо. Черные глаза, черные ресницы были мокры. Горестно стиснутые губы разомкнулись:

– Ефросинья, сестра! Зачем я не умерла в родах? Зачем ты выхаживала меня? Как же мы теперь жить будем?!

Ефросинья со вздохом опустилась на пол, обняла Стефку, принялась поглаживать по плечам.

А что она еще могла сделать? Ответить-то было нечего!

Декабрь 1607 года, Россия

Напрасно лгала инокиня Марфа! Ее отречению от Дмитрия никто не поверил. И даже то, что писанные ею грамоты развозил по западным городам брат бывшей царицы, Михаил Нагой, не прибавило им убедительности. Однако Марфу и ее братьев не упрекали в отступничестве – их всех жалели.

– А что ж ей, государыне-матери, еще говорить, когда она в руках Шуйского? – пожимали плечами все, слышавшие, как Нагой надсаживается, снова и снова зачитывая грамоты сестры. – Поневоле сие писано! А про мощи – про мощи много чего болтают. Дескать, подменные они. Мошенничество, и больше ничего. Шуйскому у нас веры нет, у него семь пятниц на неделе. Небось обучил его Бориска-царь лгать, вот он никак остановиться и не может. Сам же некогда клялся-божился, что подлинный у нас государь Дмитрий. А теперь что бает? Нет уж, первое слово, по пословице, правда, второе – ложь! Стало быть, теперь он лжет, Шубник-то.

Шубник меж тем, сидя в Москве, не ведал ни единой спокойной минуты. Слухами о воскресении Дмитрия переполнялась земля. Да слухи – это еще полбеды, они не стреляют и не разят копьями. Хуже другое: вся Северская земля уже начала вооружаться именем воскресшего государя! Поднялись Моравск, Новгород-Северский, Стародуб, Ливны, Кромы, Белгород, Оскол, Елец... Войско Ивана Михайловича Воротникова, полководца еще времен Грозного, было очень рассеяно силами Истома Пашкова, князей Григория Шаховского и Андрея Телятевского. Да и сами москвичи не больно-то рвались в бой: ведь Шуйский, отправляя их в поход, уверял, что сражаться придется против тридцатитысячной силы крымских татар, подступивших к Ельцу. Обнаружив, что убивать придется своих, ратники приуныли. Пашков легко обратил в бегство рать Шуйского. Вслед бегущим неслись крики:

– Вы думали, блядины дети, со своим Шубником убить государя, крови его напиться? Возвращайтесь по домам да устройте сами себе поминки, хорошенько поешьте блинов да напейтесь водки! Вот царь Дмитрий придет – проучит вас, кровопивцев!

В Москве то и дело появлялись подметные письма, уверявшие народ, что Дмитрий жив и скоро придет, уговаривавшие москвичей заранее низвергнуть Шуйского, не то злобный царь исказнит всю столицу. Среди бояр тоже начались разговоры... Даже те, кто был совершенно уверен, что 17 мая убили Дмитрия, а не какого-то подменюша, заколебались. К изумлению Шуйского, среди таких колеблющихся оказался митрополит Ростовский. К Филарету Романову начали прислушиваться остальные. Теперь они начали требовать пересмотреть отношение к полякам, запертым в Москве, настаивать, чтобы тем позволили воротиться на родину. Что до Шуйского, он, напротив, втихомолку был за то, чтобы всех оставшихся в живых ляхов перебить. Одно его останавливало: возможность в таком случае войны с Польшей, которая неведомо как для России закончится. Довольно того, что к этому новому (а может, все-таки прежнему?!) Дмитрию уже примкнули немалые польские силы!

Конечно, это была не королевская армия, а сборище удальцов, которым некуда обратить воинскую отвагу. А тут замаячила впереди воинская слава, богатство, взятое с бою, и заодно возможность исполнить святой долг: свершить месть за братьев, убитых в Москве. Это весьма прельщало людей, для которых во всем мире существует весьма точное наименование: авантюристы, иначе говоря – искатели приключений.

На сей раз приключений на свою голову искали проигравшиеся и пропившиеся шляхтичи, которым ради насущного хлеба приходилось пристать к какому-нибудь делу, достойному шляхетского звания и польского гонора, а такое дело могло быть только военное. Были тут неоплатные должники, которые, легко увертываясь от заимодавцев, пользуясь неприкосновенностью шляхетского человека в его собственном доме, просиживали по целым дням заперти, дожидаясь солнечного захода, после которого нельзя, по старинным обычаям, задержа-

вать должников. Скучно было такое положение: ведь заимодавец имел право, поймав должника на улице, засадить его в тюрьму. Оставалось идти либо в монахи, либо в разбойники, а тут в Московской земле открылся случай и от заимодавцев улизнуть, и весело пожить, и чести шляхетской не уронить! Были в войске и прямые преступники, осужденные за разные своевольства и опасавшиеся в отечестве казни. Были и такие молодцы, которым было все равно, где удаль показать, в ту или другую страну отправиться, лишь бы весело пожить, не глядя в завтрашний день...

По сведениям, полученным Шуйским, вел сие войско (четыре тысячи человек!) князь Роман Рожинский – некогда богатый владелец многочисленных имений в Южной Руси, теперь запутавшийся в долгах и порешивший все их поправить одним махом.

Удалство и отвага шляхетские были Шуйскому хорошо известны; он не скрывая тревожился – вот как нагрянет эта свора на Москву... Нет уж, лучше от греха подальше поляков удалить из столицы!

Сказано – сделано. В августе князя Константина Вишневецкого и одного из сыновей Юрия Мнишка с их слугами увезли в Кострому; Станислав Тарло с Ядвигаго посланы были в Тверь; Стадницкие, Немоевские и некоторые другие паны отправились в Ростов. Сам Мнишек с братом, племянником и сыном Станиславом должны были ехать в Ярославль. Туда же отправили бывшую царицу Марину и то, что осталось от ее двора.

Ну и какой прок? Мятеж во имя второго Димитрия разгорался неостановимо. Теперь Путивль, Комарницкую волость, а потом и Тулу поднимал Иван Болотников, бывший холоп князя Телятевского. Он возвещал всем, что видел Димитрия и тот назначил его своим главным воеводой.

Шуйскому начинало казаться, что он повторяет судьбу Бориса... А ведь и в самом деле! Князь Василий Иванович мечтал, чтобы его уговаривали взойти на трон, – уговаривали-таки. Правда, не столь истово, как Годунова – несколько дней, с участием всего народа и духовенства, – но было дело. И вот теперь у него появился свой Димитрий – совершенно как был он у царя Бориса!

Шуйский доподлинно знал, что сын Грозного убит 17 мая 1606 года. Он боялся слухов о некоем призраке, однако не переставал уповать на то, что всякие слухи рано или поздно рассеиваются. Но время шло, а сведений о Димитрии собиралось все больше. Призрак постепенно обретал зримые черты. В описаниях его внешности перестали проявляться черты то Мишки Молчанова, то крещеного иудея Богданко, то еще бог весть какого явного самозванца, не способного справиться с возложенной на него ролью. Нет, этот новый Димитрий описывался видевшими его как очень схожий с первым. Ну, может быть, о родинке на его щеке не вспоминали да частенько говорили о шербоной ухмылке, однако ростом, статью, цветом волос и глаз он был очень схож с первым Димитрием!

Теперь именем воскресшего царя чинился на Русской земле всякий разбой. Боярских людей возмущали против владельцев, крестьян против помещиков, безродных против родовитых, мелких против больших, бедных против богатых. В городах заволновались посадские люди, в уездах – крестьяне; поднялись стрельцы и казаки. Пошла вольница и словом, и делом: воевод и дьяков убивали холопы, дома их разоряли, женщин насиловали. Однако для Шуйского хуже было другое: ему отказывались служить ратные и дворяне!

Так, братья Захар и Прокопий Ляпуновы – те самые, что некогда поклонились первому Димитрию под Кромами, – теперь возмутили против Шуйского Рязанскую землю. Восстал и Владимир, и Нижний Новгород с Арзамасом и Алатырем.

К изумлению Шуйского, ненавидевший его Богдан Бельский не пристал к измене. Видно, хорошо знал, что истинного сына Грозного на свете уже не было, а поддерживать самозванца вельможа старого времени нипочем не желал. Однако в Астрахани во имя Димитрия призывал ополчаться воевода Иван Хворостинин... Тут уж Шуйский просто руками разводил: ему, как

человеку, близкому ко двору, небезызвестны были постыдные домогательства Хворостинина, которые напрочь отвергались Дмитрием. Чтобы уберечься и от приставаний, и от грязных слухов, царь сослал Хворостинина на дальний низовой город Астрахань. И вот поди ж ты – не угомонился молодой князюшка, рвется к идолу своего сердца, ни о чем не желает верить в его смерть!

Конечно, над Хворостининым можно было похотывать. А поди посмейся над Пермью, где не хотели давать ратных людей Шуйскому и пили за здоровье воскресшего Дмитрия, над Великим Новгородом, где также не могли собрать ратной силы против мятежника, над Псковом, где царили разброд и шатания, даром что там сидел на воеводстве приверженный Шуйскому Шереметев... Поди посмейся над всеми теми городами, которые покорились Болотникову!

Шуйский порою ощущал себя подобным какой-то пушинке, которую чудом занесло на трон – но вот-вот сдует. Ему хотелось как-то укрепить это летучее положение, сделать свою власть более весомой. Шаг с водворением в Москву мощей Дмитрия Углицкого был хорошим шагом, но, увы, не дал тех результатов, на которые рассчитывал Василий Иванович. Другой Дмитрий – живой, деятельный, любимый народом, зверски убитый боярами – все еще оставался в памяти людей, а во гробе лежал трупик какого-то неведомого мальчишки... быть может, и в самом деле безжалостно убиенного ради тронных замыслов Шуйского? Ох, знал, знал Василий Иванович, что говорят об этих мощах и их чудотворении, доходили слухи! И уж кто-кто, а он прекрасно знал, где тут правда, где ложь... Водворение в Архангельский собор гроба с мощами не укрепило его прежде всего внутренне! Он по-прежнему оставался на троне существом случайным, не чувствовал в себе глубинной уверенности. Хотелось узаконить свое положение, связать свою персону с предшествующими государями, свое царствование – с предшествующими.

Ну, с Дмитрием уж точно не свяжешь, а вот с Борисом Годуновым... он ближайший по времени государь. Если забыть краткий период царствования Дмитрия – а месячное владычество царя Федора Борисовича и вовсе не в счет, – то Шуйский, можно сказать, преемник Годунова. Надо примирить народ с памятью Бориса!

Сказано – сделано. Царь Василий Иванович приказал вырыть тела Годунова, его жены и сына из жалких могил в Варсонофьевском монастыре. Двадцать монахов понесли по Москве тело Годунова, посвященного перед смертью в иноческий чин, как это издавна велось на Руси. Двадцать бояр и думных лиц знатного звания несли гроб царицы Марьи Федоровны. Шествие двигалось к Троицким воротам. Множество монахов и священников в черных ризах провожали их с надгробным пением. За ними следовала Ксения – инокиня Ольга...

Василий Иванович не видел бывшей царевны около двух лет и откровенно поразился произошедшей в ней перемене. В декабре 1605-го Дмитрий отправил со своего ложа в Белозерский монастырь румяную, белотелую, пышную двадцатидвухлетнюю красавицу с огненным взором необыкновенно ярких темно-серых очей. Теперь в надгробных санях ехала немолодая, исхудалая, измученная женщина с погасшими, мутными глазами, из которых безостановочно лились слезы. Она плакала горько – но молча.

Дмитрий Шуйский, стоявший на возвышении рядом с братом, весь извертелся, испепелся, изматерился, проклиная эту инокиню Ольгу. Ведь было ей говорено русским языком, что следует вопить голосом истошным, проклиная расстригу, который истребил всю ее родню, а саму царевну сперва обесчестил, затем же вовсе изломал ее жизнь, заточив в монастырь. И даже слова были для этого плача измыслены самые что ни на есть жалостные. Зря, что ли, Дмитрий Иванович Шуйский напрягал умишко?!

«Горько мне, безродной сироте! – вспомнилось старшему Шуйскому. – Злодей вор, что назывался ложно Дмитрием, погубил моего батюшку, мою сердечную матушку, моего милого

брatца – весь мой род заел! И сам пропал, и при животе своем наделал беды всей земле нашей Русской. Господи, осуди его судом праведным!»

Такие слова у кого угодно слезу вышибут. Нет же, Ольга молчала, словно проглотила язык... Право, жаль собственной выдумки. Хоть самому криком кричи, воплем вопи, воем вой!

И вдруг Димитрий Иванович заметил, что брат-государь поглядывает на него с некоторым испугом и исподтишка прикладывает палец к губам. Боже святыи, Боже крепкий! Да ведь и в самом деле: Димитрий Иванович, забывшись, сам начал выговаривать слова придуманного для бывшей царевны Ксении плача!..

Старший Шуйский засунул в рот клочок бороды и впредь стоял недвижимо. А инокиня Ольга разразилась-таки воплями – но уже потом, когда тела ее родных опускали в могилу в притворе у Троицы, близ Успенской церкви. Но она никого не проклинала – она только выкрикнула:

– Господи, за что наказуешь? Господи, за что?! Помилуй меня, Господи! – и рухнула наземь, обеспамятев.

Стоявший среди отцов церкви митрополит Ростовский низко опустил голову, храня печальное выражение лица. На самом же деле он понурился, пытаясь скрыть усмешку. Конечно, не стенания безвинной страдальницы Ксении повеселили его. Предметом ухмылки Филарета был все тот же Шуйский. Слово про царя-государя Василия Ивановича сказано: «Столь хитер-мудер, что сам себя обдурил!» Ведь в России нет человека, который не знал бы, что Димитрия-царевича в Угличе убили (или намеревались убить!) по приказу Бориса Годунова. Мыслимо ли дело – оказать равные почести и убийце, и жертве? Шуйский запутал сам себя и народ запутал. Да уж, это он умеет – обвести вокруг пальца, только надолго ли? Один Димитрий убит – однако на смену ему восстал из праха второй...

Тут улыбка Филарета приобрела оттенок явного удовольствия. По полученным им сведениям, в Стародуб к Димитрию прибыл казачий атаман Иван Заруцкий со своими донцами. Новый царь имел в своем распоряжении отряд украинской вольницы полковника Меховецкого и шляхту князя Рожинского, так что с прибытием Заруцкого он обладал теперь настоящей крепкой армией.

При воспоминании о Заруцком Филарет слегка покачал головой. Честно говоря, этого человека он поначалу опасался. Донской атаман прекрасно знал первого Димитрия, к которому когда-то привел войска в Путивль – еще до воцарения его в Москве. Однако Заруцкому, как и многим другим (да и самому Филарету!), нужен был не подлинный Димитрий: им годился бы какой угодно Димитрий. Поэтому Заруцкий поклонился ему и принялся уверять, что узнал в нем настоящего государя. Теперь он был при Димитрии, сделался его товарищем и доверенным лицом.

Филарет сложил руки на животе так, что кисть правой прикрывала левую, и принялся неприметно сгибать пальцы.

Бешеное, совершенно неистовое свободолюбие, свойственное всей казацкой вольнице, ведет Заруцкого. Кроме того, он отчаянно честолюбив. Это раз.

Рожинский и Меховецкий размахивают знаменем мести за убитых соотечественников, а на самом деле алчут богатой добычи и воинской славы. Ну что же, это не самые плохие путеводные звезды. Надо надеяться, они долго будут светить отважным полякам. Это два.

Сам Димитрий... Сам Димитрий? Совершенно определенно Филарет мог сказать о своем ставленнике одно: это прожженный хитрец и предатель по природе. Учитывая, что Шуйский совершенно таков же по свойствам своей души, так на так и выходит. Эти двое как соперники вполне достойны друг друга. Но Василий Иванович уже успел изрядно разочаровать людей. Димитрий же пока восхищает их, его воцарение сулит надежды. Победа будет за ним, это опре-

деленно, Филарет ни на миг не сомневался. А это его желание как можно более основательно упрочить фигуру нового претендента, это тревожное чувство сродни стремлению матери со всех сторон защитить долгожданного дитя, подстелить соломки под каждый его шаг. Во многом Филарет мыслил точно так же, как Василий Шуйский. Тот искал основательности, привязывая себя к предыдущим царствованиям. А нового Димитрия надо как можно крепче привязать к нему же самому... то есть к убитому царю. Конечно, он и сам это понимал: недаром он упоминал Марину, недаром называл ее своей женой и царицей! Он был прав – ведь именно присутствие Марины рядом с ним придаст ему ту самую весомость, которой вовек не обрести Шуйскому, перезахорони он хоть всех своих предшественников, взятых вместе или по отдельности! Марина – это некая неотъемлемая составляющая часть прежнего царствования. Пусть ее встречали в Москве без особого восторга, однако она все же коронованная царица, венчанная и миропомазанная, этого у нее не отнять при всем желании Шуйского, и это известно опять-таки каждому на Руси. К тому же простонародье, сперва возмущенное браком православного государя с католичкой, уверовало, что Марина крестилась в греческую веру, а оттого стала как бы своей. Через десять дней после свадьбы она потеряла мужа – эта жалобная история тоже не может не воздействовать на сердца простых людей. И вот теперь есть возможность соединить разлученных супругов... Ой, ну просто-таки «Повесть о Петре и Февронии», тая усмешку, подумал Филарет, ну просто-таки волшебная сказка!

Итак, в стремлении Димитрия соединиться с Мариной можно не сомневаться. А вот пожелает ли Марина принять в свои объятия «возлюбленного супруга»? Конечно, она тоже обладает бешеным честолюбием, как и Заруцкий, и Меховецкий, и Рожинский, и второй Димитрий, да, если на то пошло, и сам Филарет. Однако ведь ей придется не только провозглашать нового претендента своим супругом, но и в постель с ним ложиться... А черт их разберет, этих баб!

Филарет в сердцах разогнул пальцы, как бы отрекаясь от прежних обнадеживающих подсчетов.

Марина – это не просто какая-нибудь там обыкновенная женка, темная баба, теремница, затворница. На мужской взгляд Филарета (ну да, он все-таки мужчина, пострижен-то насильно, да и вообще, как говорят латиняне, клобук не делает монаха!), она просто заморыш, одни кости, ни сзади мяса, ни спереди груди, ни посмотреть не на что, ни подержать не за что. Однако именно из-за этого «заморыша» свершал свои подвиги Димитрий. Что и говорить, эта женщина была целью его жизни, а не только наследственный трон. Поэтому ее норы, ее причуды, ее настроения никак нельзя не учитывать.

С другой стороны, она не была влюблена в Димитрия так безумно, как он в нее. В браке с ним был очень немалый расчет. А если по расчету можно соединиться с одним мужчиной, то почему бы не соединиться и с другим?..

Филарет снова загнул палец.

Далее. Марина сейчас заперта в Ярославле. Живет, конечно, в относительной свободе по сравнению с московским заточением, однако в беспросветном унынии. Все поляки надеются вернуться на родину, однако для Марины это означает возвращение к участи полузнатной провинциальной шляхтянки. По сути дела, на пепелище. Без денег, с клеймом супруги самозванца... Ксении, сиречь инокине Ольге, хотя бы прощено ее сожительство с Димитрием: предполагается, что страдалицу-царевну взяли силою. А вот Марину никто не неволил, она сама выдвигала это условие: сделается женою Димитрия только тогда, когда тот сядет на русский трон, чтобы посадить рядом с собой дочь воеводы сендомирского.

Неужели «польская нимфа» уже забыла те сладостные дни, когда у ног ее лежала вся огромная Россия, когда она неограниченно владычествовала в Кремле с его баснословными сокровищами? Неужели не продаст душу хоть дьяволу, чтобы вернуть эти счастливые денечки и отомстить гонителям своим?

Филарет загнул другой палец: продаст, можно спорить, что продаст! А если начнет сомневаться, не следует забывать: рядом с ней живет человек, который обладает еще более бешеным честолюбием, чем все Заруцкие, Меховецкие и иже с ними, вместе взятые. Это ее отец, воевода сендомирский. Вот он-то, пан Юрий Мнишек, и послужит отличным посредником, когда его дочь решится-таки продать душу черту. Как говорится, у вас товар, у нас купец!

Значит... значит, прежде всего новый Димитрий должен связаться с Мнишком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.